

10.335
1961/2

СЕМЕЙСТВО
СИБИРСКОЕ

3

ЛИТЕРАТУРНАЯ

ГРУЗИЯ

1961

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗИЯ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

ОРГАН
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ГРУЗИИ

Год издания пятый

67006

СОДЕРЖАНИЕ

АЛИО МИРЦХУЛАВА. Грузия любимая! Стихи	3
МИХАИЛ ДЖАВАХИШВИЛИ. Судьба женщины. Роман. Продолжение.	5
КОЛАУ НАДИРАДЗЕ. Стихи разных лет.	30
РИММА КАНДЕЛАКИ. Сезам, отворись! Рассказ.	32
АРЧИЛ СУЛАКАУРИ. Так ночь настает в Алазанской долине... Стихи.	41
СИЛОВАН НАРИМАНИДЗЕ. Стихи.	42
СЕРГО ЛОМИНАДЗЕ. Стихи.	43
ГЕОРГИЙ ДЗУГАЕВ. Письмо. Рассказ.	44

ВЕЛИКОЕ СЕМИЛЕТИЕ

ЛИЛИЯ БРАИЛОВСКАЯ. Секретарь рай- кома. Очерк.	47
---	----

ПУБЛИЦИСТИКА

ИРАКЛИЙ АБАШИДЗЕ. Америка с пер- вого взгляда.	56
---	----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ГЕОРГИЙ ДЖИБЛАДЗЕ. Лео Киачели. Статья вторая.	74
---	----

АЗИЗ ШАРИФ. Ценный литературовед- ческий труд.	89
---	----

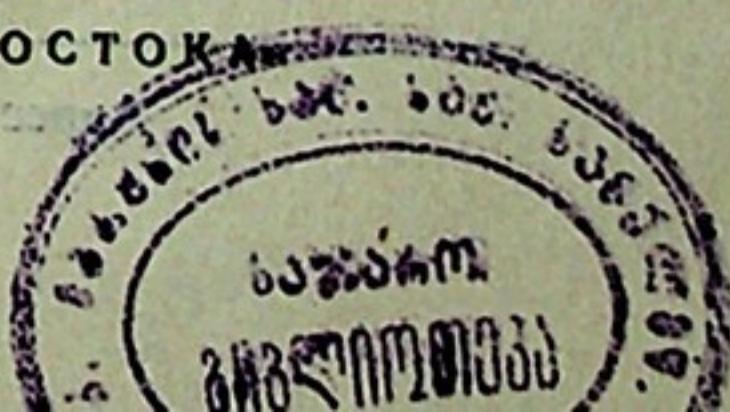
ВАЛЕРЬЯН ИМЕДАДЗЕ. Шевченко и Грузия.	93
--	----

3

МАРТ

1961

ИЗДАТЕЛЬСТВО СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ГРУЗИИ «ЗАРЯ ВОСТОКА»



0'9,
25

Редактор К. ЛОРДКИПАНИДЗЕ

Редакционная коллегия:

**Э. АНАНИАШВИЛИ, М. ЗАВЕРИН, М. ЗЛАТКИН, А. КУЗЬМИЧЕВ,
А. КУТЕЛИЯ, В. МАЧАВАРИАНИ, Э. ФЕЙГИН, Д. ШЕНГЕЛАЯ.**

Адрес редакции: Тбилиси, ул. Махарадзе, 14, тел. 3-87-88.



Алио Мирцхулава

Грузия любимая!

Не могу,
страна родная,
В этот день
тебя не петь я:
Сердцем сына
прославляю
Праздник твой —
Сорокалетье!

Мужеством и красотою,
Громкой славою столетий,
Всем,
что связано с тобою,
Мы горды,
Отчизны дети!

Не найти
тебя чудесней,
И состариться
тебе ли,
Если
вечно живы
песни
Нашей славы —
Руставели!

У тебя,
Отчизна,
сила
Бурных Мtkвари и Риони,
Смотрит в небо
горделиво
Синь хребтов Кавкасиони.

Под сияньем солнца вечным
Ты
расцвечена богато
Серебром
озер и речек,
Жемчугами водопадов.

Каждый камень твой
прославлен!
И былое помнят время
Крепость Гори,
Нарикала,
Зарзма, Вардзия
и Греми.

Слышит

тихий Базалети
Песни моря
у Тбилиси,
И слова уносит ветер
Вдаль,
в заоблачные высоты!

Над грядой Кавкасиони
Ветер славить
не устанет
Крепость
старых бастионов
Молодую стать
Рустави!

Мы —

в едином сплаве слиты.
Вместе мы —
непобедимы!

Собрались
в семье великой
Все народы — побратимы!

Нас
одна судьба сплотила.
И алеет,
словно пламя,
Наша гордость,
наша сила,
Знамя Ленина
над нами!

Перевод с грузинского Ю. Анохина

Михаил Джавахишвили

Судьба женщины

РОМАН

Перевод с грузинского
Э. Аниашвили

Продолжение

Рис. И. Гурро

В эту минуту в дверях показалась Кето — свежая, как утро. Она заглянула в комнату и просияла от радости.

— Входи, Кето, входи! — пригласила ее Марта.

— Пожалуйте, прекрасная Кетеван, пожалуйте! — Зураб поспешил навстречу девушке и крепко пожал ее руку. — Приветствую мою спасительницу и покровительницу. Как вы провели вчерашнюю ночь? Помните, как вам стало дурно?

— Помню только, как у меня потемнело в глазах, а дальше все забыла, — ответила Кето, подсаживаясь к Марте. — А как ты себя чувствуешь, Матико?

— Прекрасно.

Зураб снова заговорил с Кето:

— Уж я тер вам уши, тер... И даже пощечин надавал. Ха, ха, ха... Но вы так и не пришли в себя. Потом вас унесли наверх. Помните, как вы мне говорили в тот памятный день, в вашей комнате, что не испугаетесь крови? Ну, что же вы теперь скажете?

— Привыкну и перестану бояться.

— Не так это просто! — возразил Зураб. — Скажите, вам приходилось, скажем, зарезать курицу?

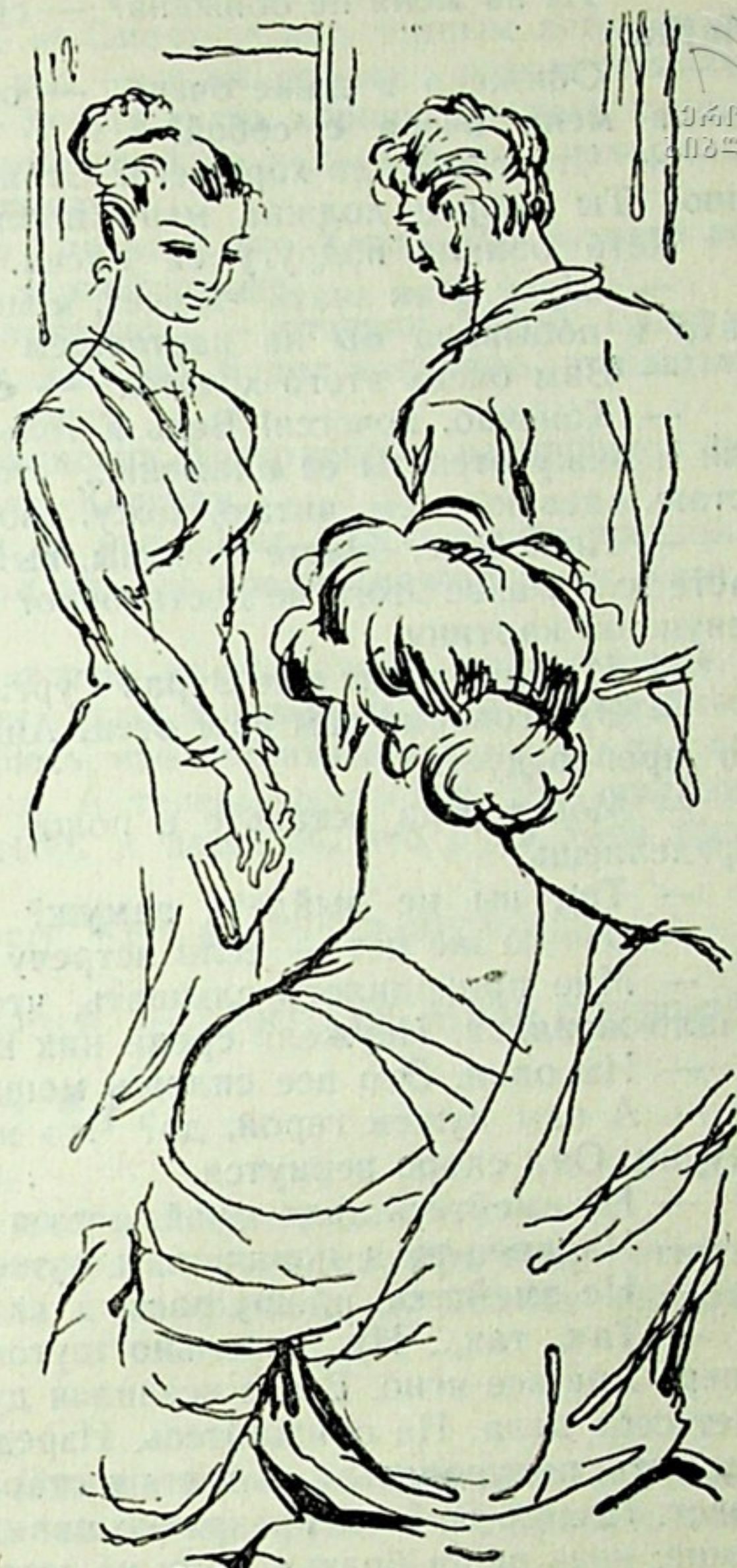
— Конечно, нет! — рассмеялась Кето.

— А вдруг придется человека убить? — Зураб явно подразнивал ее. — Небось, вы и на баррикаду побоитесь подняться!

— Это совсем другое дело! На баррикаду я поднимусь и ружье не побоюсь взять.

— Разве вы умеете стрелять?

— Умею. Братья научили. Однажды я даже убила ворону. Ха, ха, ха...



— Ты на меня не обижена? — спросила после недолгого молчания Марта.

— Обижена и даже очень, — ответила Кето. — Почему ты не взяла меня вчера с собой?

— Что там было хорошего? Стоило ли и тебя втягивать в эту историю? Ты скорее должна меня поблагодарить!

Кето обняла подругу за плечи.

— Шучу. Как знать — может, и меня там ранили бы, а то и убили! Зато я побывала бы на настоящем митинге!

— Вам очень этого хочется? — спросил Зураб.

— Конечно, хочется! Ведь я только издали слышу грохот революции и вижу отсветы ее пламени... Что за жизнь у меня? Просыпаюсь, встаю, одеваюсь, ем, читаю, хожу, снова засыпаю... Разве это жизнь?

— Полюбите, будете любимы, выйдете замуж, родите детей, воспитаете их... Разве этого не достаточно? — закончил Зураб нарисованную девушкой картину.

— И это говорит мне Зураб Гургенидзе? — удивилась Кето.

— Это говорит вам ваш отец, Андро Ахатнели. Он везде и всюду это проповедует.

— Моего отца оставьте в покое. Он — допотопный зубр, его не переделаешь.

— Так вы не выйдете замуж?

— Отчего же нет — если встречу человека моего толка.

— Мне приходилось слышать, что к Кетеван Ахатнели сватается немало женихов. Неужели среди них ни один вам не по душе?

— Ни один. Это все сплошь мещане, обыватели.

— А вам нужен герой, да? Что ж, героев сейчас тысячи в Маньчжурии. Они скоро вернутся.

— Не смейтесь надо мной, а то я расплачусь.

— Наконец-то я понял, вам нужен бомбист.

— Не смейтесь, прошу вас!

— Так, так... Ну, довольно шуток! — сказал Зураб, вставая. — Теперь мне все ясно. В вас вселился дух революции, дух свободы, и он ищет себе дела. Не обижайтесь. Изредка и на меня нападает желание пошутить, подурачиться — вот я и стараюсь отвлечься от своих забот и тревог. Повторяю — я прекрасно понял, что у вас на душе. Но скажите мне: ведь ваши братья, если не ошибаюсь, участвуют в революционном движении. Отчего они и вас не втянут в работу?

— Оттого, что боятся моих родителей и очень уж трясутся надо мной. Еще такую насмешку придумали: есть, мол, у нас черный лебедь, запертыи в хрустальной башне, и мы его не выпустим оттуда.

— Черный лебедь? Какое удачное прозвище! — воскликнул Зураб, окидывая Кето с головы до ног внимательным взглядом. — Кто же вас так назвал?

— Шукураули. Вы его знаете?

— Кто не знает Элизбара Шукураули! — ответил с улыбкой Гургенидзе. — Третьего дня он в двадцатый раз переменил квартиру. Скрывается от призраков! Настоящий страус: прячется, когда спит, а среди бела дня гуляет по улицам, протирает панель. Но имя он придумал для вас чудесное. Черный лебедь... в хрустальной башне... Как в песне: «хрусталем сверкает крепость, башню в облака взметнула, в ней — красавица Кетино гордо шею изогнула...» Изогнула, как лебедь... Да, прекрасный образ. Этак я, пожалуй, поверю, что Шукураули в самом деле поэт!

— Опять насмехаешься?

— Боже упаси! Не варвар же я! Смеяться над черным лебедем из хрустальной башни? Что вы, что вы! — и он добавил тоном сожаления: — Хотел бы я иметь столько досуга и так хорошо владеть пером, чтобы написать поэму о черном лебеде. А то ведь я и мои товарищи пишем самую грубую, черную прозу!

— Неправда! — восторженно прервала его Кето.—Вы пишете великую огненно-красную поэму на черной земле!

— Ну, так ли это — время покажет... — ответил Зураб, надевая соломенную шляпу. — Кто знает, как она будет написана, эта поэма или повесть, и какой у нее будет конец.

— Я верю, что она будет написана прекрасно и завершится победой, — убежденно воскликнула Кетеван.

Зураб изумленно посмотрел на нее. «Нет, эта девушка слишком хороша для Авшарова»,—подумал он. Он крепко пожал руку Кето и сказал с искренним чувством:

— Благодарю вас, милая Кетеван, за эти слова, полные веры. Я обязан вам свободой, быть может, даже жизнью, и если понадобится, готов отплатить вам за добро. Боюсь, что я своими шутками обидел вас. Забудьте об этом, и не сердитесь. А теперь прощайте. До свидания, Марта. Скоро я опять навещу тебя, и надеюсь, что рука твоя будет здорова.

Когда Зураб был уже на пороге, Кето крикнула ему вслед:

— Берегитесь Авшарова!

— Пусть и он меня побережется. — бросил ей Зураб с угрозой и вышел.

* * *

Кето и Марта остались одни.

— Матико, милая, ты очень вчера испугалась?

— Если кто-нибудь скажет, что не струсил, не верь ему,—ответила Марта. — В обморок я не падала и не кричала, но все же мне было страшно.

— Много было жертв?

— Говорят, больше ста.

Кето охватило негодование. Она кипятилась, проклиная палачей, угрожала им и наконец заявила, что готова хоть сейчас бросить бомбу в какого-нибудь из их начальников.

Марта улыбнулась ей одними глазами.

— Ты и в самом деле могла бы? — спросила она.

— Почему же нет?

— И никого бы не пощадила?

— Никого!

— Даже Авшарова?

— Если комитет прикажет, я и его не пожалею, — на этот раз и Кето улыбнулась.

— Напрасно ты испугалась. Ничего подобного комитет тебе не прикажет. Да он вовсе и не желает зла Авшарову, — успокоила подругу Марта.

— Почему?

— Потому что... Авшаров не из числа наших заклятых врагов.

— В самом деле? Комитет так считает? — В голосе Кето прозвучали радостные нотки.

— Я знаю наверняка. Говорят, иногда он даже бывает полезен для нас.

Искорка удовольствия, мелкнувшая в глазах Кетеван, не ускользнула от Марты. Немного помолчав, она вернулась к прежней теме:

— Он все так же настойчив?

— После моих именин приходил уже дважды. Один раз меня не было дома, а в другой раз пришлось спрятаться. Кроме того, он часто присыпает цветы и конфеты. В общем, конца этому не видно, и я не знаю, что делать.

— Что ж ты и сама мучаешься, и его терзаешь? — сказала Марта тихо. — Или откажи ему окончательно, или уж подумай серьезно и решайся... Чего ты тянешь? Он тебе хорошо знаком, нового о нем ничего не узнаешь.

— Да, да, я его прекрасно знаю... Он очень хороший человек. У него есть все достоинства, каких только можно пожелать. Он отлично образован. В России у него большое имение, и на службе его ценят... Но именно эта служба и его мундир и встали между нами... Ему все не удается переменить службу, а я ни за что не соглашусь выйти за него замуж, пока он не найдет себе другое, порядочное занятие. Но оставим это! Старый мир рушится — зачем же мне связывать свою судьбу с теми, кто его защищает? Нет, я принадлежу к людям нового поколения, и мой муж должен быть такого же образа мыслей, как я сама.

— Конечно, так лучше всего... Но иногда случается и наоборот. Можно ведь выйти замуж за человека иного толка, и все-таки служить делу революции.

Кето поняла ее мысль и встревожилась:

— Что ты говоришь, Марта! Если я буду искренне любить мужа, то жизнь превратится для меня в ад. А если не буду любить, то придется вечно притворяться, носить маску и грязнить свою душу ложью. Неужели ты это мне советуешь, Матико?

— Я ничего тебе не советую. Я только хочу сказать, что немало жен высокопоставленных людей перешли на сторону революции и служат ей, как могут. А кроме того, настоящий борец за свободу ничего не побоится, если это нужно во имя его великой цели. Ради этого я могу и маску надеть, и даже убить человека.

— Я бы уж лучше совершила убийство... — сказала Кето.

— Это только пустые слова, милая моя Кетуни! Там, где льется кровь, тебе не место. Разве я не правду говорю?

— Правда, — призналась Кето.

— Что же остается? Кричать «Да здравствует» в гостиной и сверкать глазами на полицейских? Да это же каждому доступно!

— Значит, ты советуешь...

— Повторяю — я тебе ничего не советую: Ты должна сама выбрать свой путь, взвесив свои силы и возможности. Я сама всегда так поступаю. За то, что превышает мои силы, я никогда не берусь.

— Так-то так... Но скажи мне, Зураб сегодня в первый раз приходил к тебе?

Марта подозрительно поглядела на Кето и сказала, помолчав:

— Почему ты спрашиваешь?

— Так, просто. Без всякой причины.

— Да, он приходил в первый раз, — сказала Марта, глядя в сторону.

— Он по-прежнему нигде не живет?

— Не знаю.

Наступило неловкое молчание. Кето искала предлога, чтобы заговорить о своем брате, и наконец решила идти напролом:

— Нико лежит на квартире у Димитрия. Почему ты не проведешь его?

— Пойдем! — с готовностью ответила Марта, вставая.

— У меня нет времени. Я очень спешу. Ступай одна и постарайся развлечь его. Ты ведь знаешь, как он тебя любит!

Марта ничего не ответила. Она только испытующе поглядела на Кето, стараясь прочесть на лице подруги все, чего та не договорила.

— Жаль его. Мучается, — тихо сказала Кето.

— Он сказал тебе что-нибудь? — спросила Марта.

— Нет. Я сама догадалась.

— Может, причина его страданий — вовсе не я, а другая?

— Нет, нет, это ты. Я только что была у Нико, и он почти проговорился. Бедняга совсем иссох. Только тогда и оживляется, когда заходит речь о тебе.

— Чем же я могу помочь Нико? Ведь я ему не жена! — сказала Марта, пожав плечами.

— А почему бы вам не пожениться? Вы — давнишние друзья. Он ушел из семьи и весь отдался революционной борьбе. Путь у вас общий — идите уж вместе по нему!

Марта молчала, отвернув лицо. Кето думала: «Она любит Зураба, вот почему Нико для нее недостаточно хорош. Впрочем, я ее понимаю, и сама бы так же поступила. Мой брат не может сравниться с Зурабом Гургенидзе. Но что же сам Зураб? Неужели и он любит Марту? Очень может быть: Марта и умна, и красива. — Внезапная мысль молнией промелькнула в голове у Кето: — Не для того ли советует мне Марта выйти замуж за Авшарова, чтобы избавиться от соперницы и окончательно завладеть Зурабом? Неужели она в самом деле боится меня? Испугалась так сразу?» Кето вспомнила, как перед этим, когда Зураб разговаривал с нею, Марта хмурилась, молчала, и оживилась только после его ухода. «Нет, моя милая Матико я не соперница тебе, но и за Авшарова замуж не выйду!» — решила она и встала.

— Так ты проведай Нико, а то он очень скучает! — сказала она, выходя из комнаты.

VI

— Отец позорит нас на весь мир! — воскликнул с горячностью Нико и, стуча костылями и прихрамывая, забегал по комнате. Он еще окончательно не выздоровел и по-прежнему жил на квартире у Димитрия. Тяжелая рана и долгое бездействие сделали свое: Нико осунулся, исхудал и был настроен еще яростнее, чем прежде.

Переполох был вызван новой статьей Андро Ахатнели, напечатанной в этот день в «Иверии».

В комнате, кроме Нико, находились Димитрий, Акакий и Кето. Все они были также взволнованы. Акакий послал за своей женой и за Григолом; невестка и деверь появились почти одновременно. Следом за ними вошли Мариам и Анико; они, однако, были незваными и нежеланными гостями — Нико и Акакия явно раздосадовал их приход.

— Что случилось? Почему все в сборе? — спросил Григол.

— Отец разразился новой эпистолой, и мы сейчас ее зачитаем, — ответил Акакий. — Садитесь и слушайте.

Когда все разместились, Акакий начал:

— Автор статьи попытался скрыться под псевдонимом... Но никого ему не удалось ввести в заблуждение! Всякому ясно, что «Винмэ

Ахали» — «Некто новый» — это, конечно, Андро Ахатнели, и никто иной. Да и без этой подписи мы легко установили бы автора по его архаическому стилю. У кого еще, в самом деле, встретишь в ^{наши дни} такие выражения, как «воистину блажен», «приснопамятные события» или «на стогнах града сего»?

— Не тяни, точно Глаха Чриашвили¹. Мне некогда,— прервал его Григол.— Если собираешься читать, то читай.

— Статья озаглавлена «Наше направление»,— продолжал Акакий.

— Смешно, ей-богу! Наш отец берется указывать направление народу! — прервал его Нико.

Григол послал ему сверкающий взгляд из-под нахмуренных бровей. Нико замолчал.

Акакий начал читать. При этом он гримасничал, качал головой, щурил глаза, насмешливо улыбался и то и дело вставлял: «Слушайте, слушайте!», «Так!», «Великолепно!», «Изумительно!».

Автор статьи был явно испуган и старался заразить своим страхом читателей. Радикалы и социалисты не имеют представления о том, что такое русский мужик. Он превратит революцию в бунт и в первую очередь истребит самих главарей революции. Культура, созданная на протяжении веков сотнями поколений, будет в один миг уничтожена огнем и топором. Судьбу России должны решать сами русские, а нам, грузинам, следует стоять в стороне, как это делают финны. Тому, кто сует нос не в свое дело, всегда достается больше всех. Автономия Грузии чревата большими опасностями; судьба страны может оказаться в руках оголтелых демагогов, которые заставят нас вспомнить времена Шах-Аббаса и Тамерлана.

Нико нервно рассмеялся и пересел с постели на стул.

Автора пугала и перспектива парламентарного строя. Сто пять лет тому назад российская бюрократия упразднила договор о покровительстве, заключенный с Ираклием II в 1783 году, и навеки присоединила к себе Грузию. Многие требуют сегодня восстановления первоначального договора, но лучше нам забыть навсегда этот древний «Георгиевский трактат». В настоящее время следует заботиться только о том, чтобы нам дали самоуправление и восстановили в правах наш родной язык. От кого мы можем рассчитывать получить все это? — спрашивал Ахатнели и тут же отвечал на свой вопрос: российская демократия будет огромной, неуклюжей машиной; наш голос не сможет достичь ее центральных органов, мы не сумеем привлечь ее внимание к нашим нуждам и нашим правам. У парламента окажутся тысячи дел, рядом с которыми вопросы, жизненные для нас, будут представляться ему мелочью — и это неповоротливое чудище вообще не удосужится нами заняться. Между тем двери царя и немногочисленных его министров всегда перед нами открыты, и достаточно убедить не тысячу депутатов, а только одного «высочайшего повелителя, обожаемого монарха», чтобы нам пожаловали самоуправление и разрешили пользоваться родным языком.

— Это все,— объявил Акакий; он обвел бесцветными глазами слушателей, чтобы оценить произведенное впечатление, и добавил, теребя свою бородку: — Редакция заявляет, что она не согласна с автором.

Воцарилось долгое молчание. Все выжидательно поглядывали друг на друга. Наконец Дмитрий не выдержал:

— Говорите же что-нибудь!

¹ И. Чавчавадзе. «Сцены из времен освобождения крестьян».

— Пусть высажется первым тот, кто нас созвал,—ответил Григол,

— Я пригласил вас только для того, чтобы вместе прочесть эту статью, — отозвался Акакий и знаком показал беспокойно ерзавшему Нико, чтобы тот молчал. Но юноша не послушался Акакия, призывающего его не раскрывать сразу своих намерений, и тут же выложил все начистоту:

— Нет, не только для того. Мы считаем, что статью необходимо обсудить...

— И вынести постановление, не так ли? — закончил Григол.

— Непременно! — подтвердил Нико; он встал, прокашлялся и начал, повысив голос, словно на трибуне: — Революционная волна нарастает с каждым днем, отзвуки народного гнева слышны повсюду, царский трон шатается и вот-вот рухнет, а отец наш пытается умиротворить народ, советует ему пасть на колени и умолять царя: «Смилийся, подари нам самоуправление!». Это измена, предательство, это настоящие черносотенные призывы. Наш отец перешел в лагерь «истинно-русских людей», побратался с Городцевым и Восторговым, навлек на нас небывалый позор! Всему свету известно, что мы, Ахатнели — передовая семья; некоторые из нас вступили в ряды активных революционных борцов, другие сочувствуют революции... А отец поднял черное знамя и преградил нам путь... Он осрамил, запятнал нас! Мы не можем это терпеть, мы не должны молчать! Наше молчание будет равносильно поощрению, отец пойдет дальше по тому же пути, и в конце концов наша семья окажется в рядах разных Амилахвари и Абдушлишивили... Мы все одинаково опозорены, смыть это пятно — обязанность всего нашего семейства. Я кончил. Теперь пусть выскажутся другие.

Нико тяжело опустился на свое место.

— Посоветуй уж заодно, что нам делать? — сказал Григол.

Нико взглянул на Акакия. Он рассчитывал, что осталное скажет старший брат. Но Акакий смотрел в сторону, утирая платком вспотевшее лицо. Подождав еще немного, Нико снова встал и закончил:

— Мы должны отмежеваться, выразить свое негодование и решительно осудить отца. Необходимо опубликовать во всех газетах статью от имени всех нас...

— И после этого — по-прежнему жить в одном доме и каждый день вместе садиться за стол? — прервал его Григол.

— Нет! Мы должны объявить отцу бойкот! — крикнул Нико. — Прекратить всякое общение с ним — не разговаривать, не...

Внезапно он осекся и замолчал. Глаза его расширились: Андро Ахатнели, одетый в белый китель, стоял в дверях, устремив гневный взгляд на своих сыновей.

Мариам, не замечая мужа, закрыла лицо руками и простонала:

— Боже мой! Лучше бы мне оглохнуть! Бойкот! Что, что ты сказал, неблагодарный?

В комнату словно ворвалась волна ледяного холода. Одни вскочили, другие беспокойно задвигались, третьи окаменели. Никто не мог произнести ни слова. Молчание душило всех, подступало к самому горлу. А Андро по-прежнему безмолвно стоял на пороге, медленно поглаживая свою холеную бороду. Наконец он шагнул в комнату и заговорил:

— Не волнуйся, Мариам! Это — знамение времени... Дети судят отца... Продолжайте, дорогие мои, продолжайте! Я не буду вам мешать... И не стану оправдываться.

Он пересек размеренным шагом комнату, подошел к окну и стал глядеть на улицу. Ничего нового и интересного он, однако, не рассчи-

тывал там увидеть. Ахатнели прожил на этой улице всю свою жизнь и знал на ней каждый камень. Из трещин тротуара торчала клоchkоватая, пожелтевшая трава. На выщербленной мостовой валялись выпавшие булыжники. Напротив стоял покосившийся одноэтажный дом он словно собирался прилечь, подперевшись локтем...

Андро, казалось, понимал, что молчание мучительно для его сыновей и невесток, что всем было бы легче, если бы он раскричался, затопал ногами... Но это было не в его обычее, и Андро не произносил ни слова, хотя и знал, что никто не осмелится заговорить раньше него. Он словно нарочно безмолвствовал, чтобы продолжить эту пытку, невыносимую как для других, так и для него самого.

Тамара поправила свои взбитые рыжие волосы, виновато улыбнулась мужу, обнажив крупные зубы, и показала глазами на дверь. Оба супруга встали и на цыпочках выскользнули из комнаты.

Анико потихоньку утирала слезы — глаза у нее были на мокром месте, она часто плакала без всякой причины.

Мариам тоже едва сдерживала слезы.

Димитрий, скрестив руки на груди, смотрел своему дяде в спину.

Григол сидел, закрыв лицо руками. Ему было стыдно, что он не заставил вовремя замолчать младшего брата. А Нико, пошипывая с независимым и решительным видом свои усики, просматривал газету...

Кето стало жаль отца. Она подошла, продела руку ему под локоть и погладила своей маленькой, мягкой ладонью его поросшую редкими волосами дрожащую руку.

Мариам последовала примеру дочери, встала рядом с мужем с другой стороны и положила руку ему на плечо.

— Успокойся, Андро! — тихо сказала она. — Они не посмеют... Ни за что не посмеют. Ты не вовремя вошел. Мы и сами сумели бы их об разуметь... Мы с Григолом... Пойдем! Тебе незачем здесь оставаться.

Андро обернулся, окинул взглядом присутствующих.

— Тот, кто вас здесь собрал, предпочел уйти... Не стесняйтесь, сберитесь снова, посовещайтесь и, — закончил он с горькой усмешкой, — сообщите мне ваш приговор.

Поддерживаемый с обеих сторон дочерью и женой, он вышел нетвердым шагом из комнаты.

* * *

Когда все ушли, Нико сел за письменный стол, положил перед собой лист бумаги и дрожащей рукой вывел на нем крупными буквами: «Зубр». Потом подумал несколько минут и стал поспешно набрасывать неровные строчки: «К компании Каткова-Победоносцева и наших черносотенных Амилахвари прибавился один обер-хулиган — «Винмэ Ахали». Прежде этот псевдоним писался так: «Аха-ли», но автор прибавил слово «Некто», убрал тире и уподобился страусу, прячущему свою маленькую головку в кустах, в надежде, что теперь уж его никто не заметит. Все, разумеется, сразу узнали известного дворянского и банковского деятеля, верного ливрейного слугу реакции, которому не удается ни обмануть пролетариат, ни задержать победоносное шествие революции».

Статья получилась резкая и беспощадная. Негодующее начало перекликалось с полным угрозы концом: «Революция единым взмахом уничтожит всех подобных зубров, являющихся пережитком давних эпох, и самую память о них сотрет с лица земли».

Нико положил в карман исписанные листки, надел фуражку, взял костиль... Но тут вошла Кето.

— Куда ты собрался?
— Ухожу. Больше сюда не вернусь.
— Ты с ума сошел! Нога твоя еще не зажила — натрудиши, рас-
пухнет, и в конце концов останешься хромым. Не смей!



Нико упал на стул.
— Я больше не могу здесь оставаться!

— У папы страшное сердцебиение. Лежит бледный и еле разговаривает.

— Хоть бы он совсем больше не встал! Пришел бы конец нашему позору!

— Что ты, Нико, опомнись! Ведь он наш отец!

— А ты — его птенчик, верная его дочка! Хочешь, чтобы и овцы были целы, и волки сыты!

— Перестань, успокойся! Революция вовсе не требует, чтобы дети публично забрасывали грязью своих родителей!

— Требует, если родители этого достойны! — возразил с горячностью студент. — Если ты — настоящий борец за свободу и если твой родитель стоит у нее на пути, твой долг — не щадить его, столкнуть с дороги, как заклятого врага. А нет, так не обманывай людей, скинь личину, — значит, и ты из числа гнилых либералов, как многие другие!

Кето слушала юношу с изумлением и думала: «Как я, оказывается, плохо знаю своего брата! Да это — фанатик! Он и меня не пощадит, подвергнет любому оскорблению, любой жестокости... Если бы меня за измену революции приговорили к повешению, и если бы не нашлось палача — Нико, пожалуй, сам своими руками накинул бы мне петлю на шею!».

— Этот дом — черносотенное гнездо! — не унимался юноша. — Ноги моей здесь больше не будет!

— А я говорю тебе — не уходи! Ведь и Марта живет в этом доме, — напомнила ему с коварной улыбкой Кето. — Если снова поселишься в Надзалахеви, тебе почти не придется с нею видеться. Кстати, как твои дела? Что Марта тебе говорит?

— Ничего! Да и не время сейчас... Я связан, никуда не могу выйти... — понизил тон Нико.

— Лучше и не выходи! Авшаров советовал не выпускать тебя отсюда. В Надзалахеви с тобой не станут церемониться и сразу арестуют, а здесь, за широкой спиной Андро Ахатели, ты в безопасности.

— Но я не желаю прятаться за спиной этого черносотенца! Однако, пожалуй, придется тебя послушаться... Пока я окончательно не выздоровлю. Больше мне ничего не остается — как бы и в самом деле не остаться хромым... А теперь снеси эту записку Марте — пусть поскорее передаст Зурабу.

Кето сразу насторожилась.

— Марта знает, где он живет?

— Знает... Найдет...

— Скажи, где его искать — я сама передам.

— Да нет, не сумеешь... Это не так просто.

— Говорю тебе, найду.

— А я говорю, не надо. Отнеси записку Марте. Она сегодня же передаст.

Кето положила письмо в сумочку и пошла вниз черным ходом. Спускаясь по лестнице, она заметила во дворе Марту, направлявшуюся к калитке.

— Марта, подожди, у меня к тебе дело! — окликнула Кето подру-

гу и, догнав ее, протянула сложенный листок. — Нико просил сегодня же передать это Зурабу.

Марта недоверчиво поглядела на нее.

— Меня просил или Левана?

— Тебя, тебя.

— Откуда я знаю, где искать Зураба?

— Это уж дело твое... Я повторила то, что мне сказали.

— Отдам записку Левану... Может, он сумеет...

И Марта продолжала свой путь к калитке.

Кето вернулась наверх, прошла в свою комнату и, выглянув в окно, увидела Марту, медленно поднимавшуюся по улице. Добравшись до ближайшего угла, Марта остановилась и внимательно оглядела обе открывавшиеся перед нею улицы. Потом она спустилась до другого, нижнего перекрестка, посмотрела и здесь во все стороны, вернулась к дому Ахатнели и чуть слышно постучала в свое окошко.

Через минуту из ворот вышел какой-то человек. Нахлобучив шляпу до самых бровей и нагнув голову, он двинулся быстрым шагом вверх по подъему. Кето не видела его лица, но по фигуре и по походке сразу узнала Зураба. С бьющимся сердцем следила она за Гургенидзе до тех пор, пока тот не скрылся из виду.

Марта поглядела наверх, увидела в окне Кето, опустила голову и вернулась во двор.

Кето была уязвлена в самое сердце. «Теперь-то уж все ясно, — решила она. — Марта прячет Зураба от меня. Но неужели... Нет, нет!.. Не думаю... А все-таки?.. Значит, Зураб балуется с Мартой? Удовлетворяет свою минутную прихоть? А может, они просто сообща делают общее дело, и больше там ничего нет? А меня душит досада... Ревность... Боже правый, что со мной делается?»

Она прошлась по комнате, погляделась в зеркало, схватила попавшуюся под руку записку Цверадзе, в которой тот приглашал ее вечером в сад «Муштаид», и швырнула бумажку в дальний угол. Потом вернулась к окну и снова выглянула на улицу.

Напротив дома Ахатнели стоял одноэтажный, покосившийся домишко с большим двором, обнесенным с улицы высоким дощатым забором. Из ворот этого дома выехала со скрипом арба, нагруженная землей. Кто-то запер за нею ворота и пошел изнутри вдоль забора, пригнувшись, чтобы его не заметили. Лишь на мгновение показался он во дворе и тотчас же скрылся за домом.

Кето, однако, сразу узнала Левана. Она удивилась: что ему нужно в этой дощатой лачуге? Зачем он копается в земле? Что ищет? На днях, возвращаясь поздно вечером домой, Кето чуть не столкнулась с Леваном, выходившим оттуда. Завидев ее, Довлаташвили тотчас же повернул назад и скрылся во дворе. Через день Кето спросила его: «Леван, что ты делал позавчера во дворе напротив?» «Я? Да ничего! Я там вовсе и не был. Тебе почудилось!» — ответил ей Леван.

Что ж, и сейчас ей померещилось? Нет, тут что-то не так! Но Кето непременно все выяснит. У нее прекрасный наблюдательный пункт — ничто не укроется от ее пытливого взора. Возможно, что этот путь приведет ее к Зурабу. А если и нет — она все же откроет что-нибудь новое для себя, еще раз заглянет одним глазком в таинственный мир революционной борьбы. мир, который Марта, Нико, Леван и Зураб скрывают от нее за девятью замками.

Странное беспокойство охватило Кето. Что-то тревожило ее, ка-

кая-то обида тяготила сердце. Да, конечно, Марта солгала ей — но почему это так сильно ее взволновало?

Она схватила «Историю культуры» Липперта, села в кресло-качалку и стала перелистывать книгу, но через несколько минут отбросила ее и взяла томик Байрона, недавно присланный Авшаровым. Между страницами книги была вложена записка, которую Кето запомнила почти дословно. «Дождусь ли я когда-нибудь счастья видеть вас? — было написано на листке розовой, надушенной сиренюю почтовой бумаги. — В прошлом году я занимал какое-то маленькое местечко в вашем капризном сердце, но теперь, по-видимому, кем-то или чем-то изгнан оттуда. Я изо всех сил борюсь с самим собой, стараясь забыть ваше ангельское лицо, но ничего не могу поделать. Вы — единственный свет моих очей, и страданиям моим не видно конца. По-моему, вы успели убедиться, что я безумно люблю вас... И если я вам не отвратителен, если мое общество доставляет вам хоть крупицу удовольствия, прошу вас, сообщите, где и у кого мы с вами могли бы встретиться и провести вместе хоть часок — один-единственный коротенький час... Я не осмеливаюсь больше являться в дом ваших глубокоуважаемых родителей, так как братья ваши, эти прославленные слуги свободы, сторонятся меня, как отверженного, нисколько не щадя моего самолюбия. Я не порицаю их. Они следуют своим убеждениям. Но убеждения есть и у меня, и я также верой и правдой служу своим идеалам».

«Прославленные слуги свободы»... Выражение это острым шипом кольнуло Кето в сердце, и она не ответила Авшарову. Но сейчас, перечитав письмо в пятый раз, она почувствовала жалость к нему. Постепенно чувство это все больше овладевало ею. Она вспомнила записку Цверадзе и пришла в негодование: «Дурак, грубиян, торговец! Приглашает в Муштаид! Зовет на гулянье к лакеям и приказчикам! Лучшего места не мог придумать!»

* * *

В эту самую минуту Цверадзе сидел в кабинете Андро Ахатнели и говорил хозяину дома:

— Больше трех тысяч рублей я никак не смог вам устроить. Если прибавить к старому долгу, получится всего шестнадцать тысяч пятьсот или шестьсот рублей. Подпишите, пожалуйста, вот этот вексель... Очень стало трудно с деньгами, очень, очень трудно... Эти беспорядки совсем подорвали торговлю. Товары не доходят до места, портятся, гниют, теряются в пути. Половину разворовывают... Забастовки следуют одна за другой, — Цверадзе положил перед Андро пачку банкнот и продолжал: — Сосчитайте. Здесь ровно три тысячи. Ваш сын Илико обходится вам слишком уж дорого. Кутежи, женщины, игра... Такого сам Манташев не выдержит! Но и у меня скоро увеличатся расходы... Мне уже тридцать шесть, пора обзаводиться семьей, не век же бобылем ходить!

Хотя Андро был всецело поглощен счетом денег, последние слова Цверадзе не ускользнули от его внимания. Спрятав пересчитанную пачку в ящик письменного стола, он повернулся к Якубу и спросил:

— А невесту вы уже выбрали?
— Я-то уже выбрал, да только...
— Кто она?

— Есть одна барышня... Образованная, самого лучшего происхождения и очень красивая. — осторожно начал Цверадзе и вдруг решился: — Чего уж скрывать, глубокоуважаемый Андро, мне нравится ваша дочь... Очень нравится!

— А вы ей нравитесь? — сухо спросил Ахатнели; он давно уже ждал этого разговора.

— Пока не знаю.

— И я не знаю.

— Разумеется, вы и не можете знать. Но я все же хотел предварительно убедиться... — пробормотал Цверадзе. Он уже понял, что начал дело не с того конца.

— Надо было вам сначала поговорить с Кетеван, а уж потом обратиться ко мне, — сказал Андро, решив про себя: «Ничего не выйдет! Сразу видно — не сумел завоевать сердце Кето и ищет поддержки».

Но Якоб не стал просить помощи у Андро, а коротко заключил разговор:

— Вы совершенно правы: я должен был первым делом получить согласие самой Кето. Но это — дело не простое... Ее внимания добиваются несколько молодых людей. Трудно мне придется.

— У всякой хорошей девушки много женихов, а вот у плохонькой их не бывает, — ответил с улыбкой Андро, вставая. — Словом, дело за вами и за Кето. Поговорите с нею. Попытка — сестра удачи.

— Совершенно верно. До свидания.

— До свидания, дорогой Якоб. Благодарю вас за услугу и желаю победы в этом деле, как и во всех других!

— Спасибо и вам, — ответил Цверадзе и тут же рассердился на самого себя. Что за растира! В который раз по первому же намеку поднес Андро деньги чуть ли не на блюде и ничего не добился взамен — даже простого обнадеживающего слова! В конце концов сам же и поблагодарил Ахатнели. «За что? Дурак я, потому и поблагодарил!»

Он направился было к своей квартире, но услышал заглушенные звуки рояля, доносившиеся из гостиной Ахатнели, и заглянул туда.

Около рояля стоял Климиашвили — высокий, в начищенных сапогах и диагоналевых бриджах, гладко выбритый, статный и красивый — словом, образцовый молодой военный из тех, при виде которых Цверадзе неизменно испытывал робость и почтение.

Кето заметила стоявшего в дверях Якоба, но притворилась, что не видит его, и с силой ударила по клавишам. Цверадзе не посмел даже поздороваться, круто повернулся и ушел к себе.

* * *

Кето захлопнула крышку рояля и обернулась к Климиашвили.

— Помните то утро, когда вы делали обыск у нас в доме? — спросила она.

— Отлично помню, — с улыбкой ответил Сандро. — В тот день я впервые в моей жизни нарушил присягу.

— Почему вы ее нарушили?

— Ради вас. Если бы я арестовал того человека, вас могли впутать в дело и строго наказать.

— Какая я бессовестная! — воскликнула Кето, протягивая поручику обе руки. — До сих пор даже не поблагодарила вас!

Молодой человек схватил ее нежные, смуглые руки и прильнул к ним губами. Они были такие мягкие, теплые, от них струился такой тонкий, опьяняющий запах! Сандро покрыл жадными поцелуями эти податливые руки, эти душистые ладони, эти длинные, изогнутые пальцы... Потом перешел к запястьям, и губы его скользнули вверх, к точеному локтю.

Кето слабо сопротивлялась, пытаясь вырвать руки и снова уступала, как бы говоря: «Нате! Целуйте еще... еще!..» — и в то же время смущенно шептала:

— Хватит... Перестаньте...

Внезапно Сандро сжал девушку в объятиях и потянулся пылающими губами к ее лицу. Но Кето нагнула голову, вырвалась и вскочила, холодно бросив:

— Довольно, слышите? Сидите смирно, и будем спокойно разговаривать... — Она села поодаль и спросила: — Знаете, кого вы спасли в тот день?

— Откуда я могу знать? — с досадой, как человек, которому помешали исполнить его заветное желание, ответил Сандро.

— Слыхали вы такое прозвище — «Барс»?

— Барс? Гургенидзе?

— Да, это был Зураб Гургенидзе. Не ожидали?

Поручик изумленно глядел на девушку. Потом недоверчиво покачал головой:

— Вы шутите! Как мог Гургенидзе очутиться в вашей комнате?

— Повторяю, это был он. Вы, кажется, не верите?

— Не верю.

— Даю вам честное слово... В тот день он как раз убежал от жандармов и наткнулся на вас на улице.

Сандро окончательно отрезвел. Он резко поднялся с места, нервно прошелся по комнате и, остановившись перед Кето, сказал внезапно охрипшим голосом:

— Неужели?.. Это был в самом деле он? Почему я не знал! Я уложил бы этого негодяя на месте!

— Боже мой, что вы говорите, Сандро!

— Да, да, убил бы его в вашей комнате. Окрасил бы вашу постель кровью этого зверя!

— Сандро, опомнитесь! Что с вами? Гургенидзе — зверь?

— Да, зверь! Говорю вам — это изверг, разбойник! Вы знаете — недавно убили моего брата... Он служил приставом...

— Знаю, вы рассказывали.

— Я теперь знаю наверняка, что в его гибели повинен Гургенидзе.

— Он убийца вашего брата?

— О, он не разменивается настолько, чтобы пачкать кровью собственные руки. Мой брат был убит в уличной стычке... А Барс там был первым главарем и подстрекателем... Отчего я не знал? Я бы не пощадил его, я и с вами не стал бы считаться! Я ведь ищу его повсюду, весь город перевернул! О, если бы я знал!

Климиашвили никак не мог успокоиться — горячился, ерзал на стуле, вскакивал, бегал по комнате и снова садился.

Кето молчала. Она понимала, что в эту минуту любые уговоры и уверения бессмысленны и неуместны. Наконец, дождавшись, чтобы Сандро немного успокоился, она сказала:

— А знаете ли вы, что вся эта история с бегством Гургенидзе стала известна Авшарову?

Климиашвили вздрогнул.

— Откуда он мог проинюхать? Кто ему сказал?

— Он в тот же день все узнал. Допросил солдат и нашего старого повара и догадался, что Гургенидзе был спрятан в моей комнате и что вы отпустили его, не желая подвергать меня неприятностям. Но только Авшаров никому об этом не сообщал...

— Не знаю, что он там сообщил и кому, а только на службе дела у меня пошли из рук вон плохо. Числился я в превосходном полку, в гренадерском, а теперь переведен в караульный батальон.

— Клянусь вам, что Авшаров в этом не виноват. Он все сохранил в тайне... Авшаров очень хороший человек.

— Ваш Авшаров — хорошо натасканная ищейка, только и всего!

— Ищейка? Да вы, кажется, ревнуете, Сандро! — Кето лукаво улыбнулась.

— Не буду скрывать, Кетеван... Вы очень милостивы к Авшарову — мудрено ли, что меня мучает ревность?

— Авшаров — мужественный человек, настоящий рыцарь! — подливала масла в огонь Кето.

— Жандарм — и рыцарь? — воскликнул Климиашвили.

— Чем же офицер лучше жандарма?

Сандро вскочил, как ужаленный.

— Вы хотите оскорбить меня? Зачем? Что я вам сделал?

— Жандарм, по крайней мере, может позволить себе жениться!

— А офицер не может?

— Разве вы не знаете нового приказа? Каждый офицер обязан, вступая в брак, внести в казну пять тысяч, чтобы в случае чего семья его не осталась на улице. А у многих молодых офицеров не найдется и пятисот рублей! Разве это не правда?

Климиашвили весь потемнел и опустился на стул. Помолчав немного, он ответил с горечью:

— К великому моему несчастью — истинная правда... Вы мне во время напомнили. Да, это так: я долго еще не буду в состоянии жениться, и впредь больше не осмелюсь докучать вам. Вы очень умело рассеяли мои надежды.

Кето вспыхнула.

— Как вам не стыдно, Сандро! — вскрикнула она. — Я вовсе не это имела в виду. Да мне и в голову не могло прийти... Я сама еще не собираюсь выходить замуж. Передо мной стоит совсем иная цель, и я не хочу лгать, обнадеживая вас... Но я всегда буду глубоко благодарна вам, всегда... всегда... — Она порывисто обвила руками шею Климиашвили, поцеловала его в лоб и бросилась вон из гостиной. — Не осуждайте меня и не сердитесь! А теперь ступайте и будьте счастливы! — закончила она уже в дверях и скрылась в своей комнате.

Климиашвили растерянно провел рукой по лбу, словно потирая обожженное место. Потом надел фуражку и ушел, понурив голову, точно побитый.

Выждав несколько минут, Кето побежала — сегодня уже во второй раз — к Нико. Там она застала перепачканного землей Левана. Молодые люди о чем-то оживленно беседовали, но при появлении девушки сразу замолчали и уставились на нее, всем своим видом выражая крайнее нетерпение. Кето не стала их долго томить:

— Вас интересует, зачем я пришла? Знаете вы Сандро Климиашвили?

— Конечно, знаю, — сказал Нико. — Еще один обер-хулиган.

— Что за Климиашвили? — спросил его Леван.

— Офицер. Один из поклонников Кето, — ответил студент. — Это он арестовал Тедо и еще человек пять наших лучших товарищей. И он же обыскивал квартиру моего отца, когда Зураб спрятался в комнате Кето.



— Ах, вот это кто... Знаю, видал нѣ раз, как он приходил сюда. Ну, и что?

— А вот что, — осторожно начала Кето. — Климиашвили уверен, что Зураб виновен в смерти его брата.

— Дальше!

— Он разыскивает Зураба по всему городу, чтобы убить.

— Очень хорошо, — сказал Леван. — Пусть убивает на здоровье, если сумеет!

— Только смотрите, не трогайте его! — сказала Кето, внезапно испугавшись. — Я совсем не хочу платить Сандро злом за добро!

— Ты свое сделала, предупредила нас. За это спасибо. А остальное предоставь нам, — отрезал Нико.

— Я сказала только для того, чтобы вы сообщили Зурабу.

— Мы так и сделаем. А этого офицера никто не собирается трогать. Будь спокойна, — сказал Леван.

— Мы не террористы, мы ни на кого сами не нападаем, — добавил Нико. — Мы просто скажем Зурабу, чтобы он остерегался.

— Этого я и хочу, — ответила Кето, успокоившись, и рассталась с ними.



Сентябрь на исходе. Вечереет. Город притих, окутанный легкой янтарной дымкой. Восточная половина небосвода залита бледной лазурью, а запад — весь в алом и розовом пламени. Высоко в небе — пушистые облака: точно стадо белых, желтых и красных гусей пасется на просторе...

Склон Мтацминды с прилепившейся к нему частью города погружен в тень. Зато заречная сторона как бы распахнула грудь навстречу солнцу. Золотом и багрянцем сверкают зажженные его лучами бесчисленные окна.

Это — пора, когда Тбилиси мирно дремлет, чтобы снова проснуться позже, часа через три. Днем Тбилиси ведет странную, словно чью-то чужую жизнь. Только под вечер вспоминает он о своих заботах и живет для себя — радуется, горюет, наслаждается или смеется...

По вечерам взрывы бомб слышатся редко, революционеры не сражаются с полицией, по городу не разбрасывают прокламаций, и демонстранты не шагают вдоль проспектов. В закатную пору тбилисцы обедают, отыхают, хоронят мертвых и гуляют с детьми. На несколько часов само собой устанавливается неписаное перемирие, а потом снова вступает в силу закон войны — гнетущий кошмар нависает над городом, тревога и страх стесняют ему дыхание. Радость, словно птица с подбитым крылом, боязливо ползает по улицам города, приглушенный смех, словно хрип удавленника, временами вырывается из его горла, плененная мысль, точно вино, бродящее в зарытом в землю кувшине, то и дело приподнимает наваленный сверху камень — вот-вот разнесет свою темницу и вырвется на волю, прорежет безмолвный мрак искрометной струей огня.

В этот предвечерний час Кето вышла из своего подъезда, спустилась по крутой улице и, миновав несколько кварталов, свернула на Судебную.

Девушка была одета в простой и строгий английский костюм соломенного цвета. На белой манишке с закрытым воротничком ярко выделялся пунцовий галстук. Пышную прическу Кето увенчивала легкая шляпа из панамской соломы, отделанная искусственными ягодами и листьями. В одной руке девушка держала вышитую бисером сумочку, другой играла щелковым зонтиком, весело постукивая им о мостовую.

Как всегда на улице, Кето была весела и оживлена. Беспринципная радость светилась в ее блестящих глазах, сквозила в каждом непринужденном движении и в играющей на губах улыбке. Уже издали заметила она на перекрестке старого знакомого, седоватого, упитанного городового, который дважды в год являлся в дом к Ахатнели, чтобы поздравить их с новым годом или с пасхой, — являлся уже навеселе, а уходил и вовсе подвыпившим, зажав в кулаке новенькую хрустящую десятирублевку. Завидев на улице кого-нибудь из семейства Ахатнели, — как, впрочем, и всякого другого «порядочного» или «солидного» человека, — городовой вытягивался в струнку, а иной раз и провожал «почтенных господ» на несколько шагов, спрашивая: «Как поживаете, ваше высокородие?»

На этот раз, однако, толстяк-полицейский стоял, прижавшись к стене, и беспокойный взгляд его бегал по сторонам, подозрительно ощупывая каждого прохожего, тогда как правая рука теребила в кобуре рукоятку револьвера. При виде Кето городовой обрадовался, заулыбался, взял под козырек, пробормотал несколько приветственных

слов, — и боязливый взгляд его, оторвавшись от девушки, снова принял шарить по лицам.

Вот в окошке первого этажа мелькнули две детские рожицы. Кето постучала пальцем в стекло, засмеялась, рассмешила малышей, показала им язык и пошла дальше.

Вот какая-то старуха плетется с корзиной по улице.

— Не помочь ли тебе, бабушка? — предложила Кето и, не долго думая, схватилась за корзину.

— Помоги тебе Христос, доченька! — прошамкала старуха и, пока они добрались до ближайшего угла, раз двадцать осыпалась «красавицу» похвалами и благословениями.

Кето повернула на Чавчавадзевскую улицу и пошла вниз, к Головинскому проспекту.

Шла она легко и вольно, постукивая каблучками и зонтиком. Все радовало и веселило ее — незнакомые прохожие, играющие дети, отблеск лучей в окнах, лениво развалившиеся собаки, словом, все живое и неживое, что она видела вокруг себя. Она и сама не знала, отчего у нее сегодня так ясно на душе, и едва ли могла бы сказать, куда держит путь и почему именно сейчас вышла из дома.

Всем без разбору улыбалась Кето, и со всех сторон ей отвечали улыбками: женщины и дети — невинными и простодушными, мужчины — заинтересованными. А иные впивались в девушку, точно раздевая и ощупывая ее глазами.

Кето стало стыдно; спохватившись, она согнала улыбку с лица. Но и суровый вид помогал мало. Правда, ей теперь не улыбались, но по-прежнему пожирали ее жадными взглядами. А некоторые наглецы даже преследовали ее с такой настойчивостью, что приходилось спасаться от них, петляя по проулкам или забегая в ближайшие магазины. Хорошо, если попадался навстречу знакомый, с которым можно было пройти вместе часть пути... Нахальнее всех держали себя офицеры, в особенности драгуны, то и дело увязывавшиеся за девушкой.

Кето с завистью подумала о Марте. Ей не раз приходилось выходить вместе с подругой. Когда Марта шла по улице, она никому не улыбалась и ни на кого не поднимала глаз. Марта ведь тоже была привлекательная девушка, но она умела держаться с таким достоинством и вызывала к себе такое уважение, что редко кто осмеливался пристать к ней на улице.

«Никак не пойму, в чем тут дело, — думала Кето. — Я не кокетка, ни с кем не заигрываю, глазки мужчинам не строю. Неужели в моей внешности или в манерах есть что-то такое, из-за чего они слетаются, как мухи на мед?»

И Кето шла, силясь придать холодность своему взгляду; но через несколько минут природа брала свое: голова девушки сама собой откидывалась назад, в уголках губ и в глазах вновь появлялась сдержанная улыбка.

Из открытых окон дома Аракелова, что высился слева на углу Головинского проспекта, доносился дуэт из «Кармен». Чей-то голос громко сказал: «Еще раз, пожалуйста!» Дон Хозе и Кармен несколько раз начинали съезжаться, прежде чем сумели добраться до конца. В этом огромном доме снимали квартиры известные оперные артисты, люди со средствами. В эти дни они как раз готовились к предстоящему оперному сезону.

Кето улыбнулась, заметив, что певец и певица сбились с такта, и остановилась перед огромными витринами магазина Милова на противоположном углу. Долго рассматривала она выставленные за зер-

кальными стеклами манекены и рулоны тонких шелков и сукон. После тщательного изучения, она остановила свой выбор на великолепном отрезе светло-синей английской ткани, но не зашла в магазин, а решила вернуться завтра вместе с матерью, обладавшей утонченным вкусом и, главное, деньгами.

Наглядевшись на витрины, Кето повернула назад и пошла по проспекту в сторону Эриванской площади. Уже издали заметила она Элизбара Шукураули, который брел, пошатываясь, навстречу. Длинные волосы, давно не знавшие гребенки, и заросшее бородой до самых глаз лицо резко выделяли поэта в толпе прохожих.

Завидев Кето, Шукураули поспешил к ней с простертymi руками и приветственным экспромтом на устах:

Шла Кето, тиха, как вечер,
Взгляд стрелой в меня метнула.
«Это с ней ты жаждал встречи», —
Сердце радостно шепнуло.

— Здравствуй, Элизбар! Какой ты счастливец — можешь запросто разговаривать стихами! — сказала Кето, протягивая ему руку. — Как поживаешь? По-прежнему бродишь по городу без цели?

Элизбар продекламировал в ответ с глубокой печалью:

Я брожу по белу свету, как бездомный пес больной.
Свет в душе моей затмился, воцарился мрак ночной.
Я устал от этой пытки, жажду вырваться из клетки,
И в пустыне дикой рыскать, словно злобный зверь лесной.
Отравило кровь и душу мне безвременье глухое,
Землю отняло и небо, горе, слезы множа втрое...
Словно шут, я разрядился, и хитрить я научился,
И о смерти я мечтаю, как о сладостном покое...

— Что с тобою делается, Элизбар? — спросила с участием Кето. — Из-за чего твои страдания?

— Скажу еще, и ты поймешь, — и Шукураули продолжал глухо:

Высилась Мцхета в пламени битвы,
Над градом Карну гремел Мхаргрдзели.
Патриарх возносил в Сионе молитвы,
Пели Шавтели и Руставели.

Царица Тамар крестом осеняла
Полки — «от Дербента до Никопсии».
Как трубный гром, ее слава звучала
В Иране, в Басре, в Магрибе, в Русии;

Дымки над кадильницами лиловели,
Казалась слава вечной, нетленной,
Таясь во мраке, в глухом подземелье,
Дрожали двуличие и измена.

Все минуло... Трубы давно отгремели,
Не явится вновь чародей Руставели.
Венец разбит, и померкло величье.
И встала измена в новом обличье.

Сион и Метехи мертвы и сурово
Чернеют над Мтквари, как призрак былого.
Забыты и сабля картвела, и слава,
И облик старинный его величавый.

Остались лишь взор, ослепленный слезой,
Да дух оскудевший, объятый тоской...

— Ну, напрасно ты так горько плачешь! Чего испугался? — Кето взяла Элизбара под руку и заставила его повернуть за собой. — Идем, идем, а то уже народ собирается.

— Горюю и плачу я о том, что гибнет народ святой Тамар и великий Руставели, — отозвался слабым голосом поэт, уронив голову на грудь. — «Утрата языка — падение народа», — сказал Орбелиани. И наоборот: падение народа — утрата языка. Прислушайся к говору улицы: в Тбилиси больше не слышна правильная грузинская речь!

— Зато она громко звучит во всей остальной Грузии, — ответила Кетеван.

— Будет и худшее, Кето, беда уже нависла над нами... — возразил с отчаянием в голосе Шукураули. — Надвигается страшное, разрушительное землетрясение. Мы, поэты, умеем предчувствовать подобные катастрофы. Все остальное я сказал тебе в стихах.

— Оставим лучше эту тему, — сказала Кето. — Мы с тобой спорили сотни раз, и не могли прийти к согласию. Я гляжу вперед с надеждой. То, что творится вокруг, обещает нам лучшее, светлое будущее. А ты предаешься отчаянию, ни во что не веришь, и излечить тебя может только время. Но довольно об этом. Скажи, ты все еще прячешься от жандармов?

— А как же? — изумленно воскликнул Элизбар.

Кето рассмеялась от души.

— Чему ты смеешься?

— Ну, разве не смешно — по ночам скрываешься, боишься провести две ночи подряд в одном месте, а среди дня свободно разгуливаешь по городу.

— Я наверное знаю, что арестовать меня могут только на квартире.

— А на улице, ты думаешь, побоятся, не посмеют? Ха-ха-ха... Авшарову известны наперечет все твои прежние адреса. Да и сейчас он прекрасно знает, где ты живешь.

— Ну вот видишь — говорю тебе, за мной следят.

— Только потому, что ты сам словно нарочно стараешься навлечь на себя подозрение. Брось эту игру в прятки, живи в одном месте, и все сомнения на твой счет рассеются сами собой.

Элизбар задумался, а потом спросил, недоверчиво глядя на Кето:

— Авшаров тебе ничего не поручал?

— Просил сказать тебе то, что ты слышал.

— А может, поручил еще чтонибудь?

Кето покраснела, но постаралась обратить в шутку этот бред:

— Ну конечно! Чтобы я помогла жандармам тебя арестовать!

— Ты делаешь вид, что шутишь, а ведь это на самом деле так... Я выведал у тебя правду!

— Ты не только нахал, но еще и глупец! Сию же минуту убирайся с глаз моих вон! — вспылила Кето, и сама же убежала от остолбеневшего Элизбара на другую сторону улицы.

Негодующая и огорченная, шагала она по проспекту и думала: «Боже мой! Какой же это наглец! Что за безмозглый идиот! Принять меня за шпионку! Невежа! Болван!».

На углу Барятинской улицы толпились зеваки, глядевшие куда-то вниз. Тут же рядом вертелся городовой, вяло бубнивший: «Проходите, господа! Честью прошу, разойдитесь!»

Кето смутилась с толпой и пробилась вперед. По крутым подъемам Барятинской улицы, мимо Александровского сада, взбирался пер-

вый в Тбилиси автомобиль, недавно привезенный принцем Наполеоном. Машина ползла, хрипя и задыхаясь, как раненый зверь; помимо остановивалась, стреляла, плевалась и вдруг застыла в немой неподвижности. Шофер слезал со своего сиденья, втыкал ^{зажигалку} ~~ей~~ в нос изогнутый железный стержень и, взявшись за него, крутил его изо всех сил. Заглохший автомобиль фыркал, чихал, выпускал клубы зловонного дыма и, дрожа от напряжения, медленно полз дальше в гору. Но через минуту он опять останавливался, и все начиналось сначала.

- Буйолов запрягите! — крикнул кто-то.
- Огонь разведите! Подложите углей!
- Пороху надо подсыпать.
- Жестянку привяжите, жестянку!

Какой-то озорник притащил помятый керосиновый бидон и, подкравшись сзади, прицепил его на веревочке к автомобилю. В толпе поднялся оживленный говор, а когда машина тронулась и жестянка с оглушительным дребежжанием запрыгала вслед за нею по мостовой, послышались хохот, свист и улюлюканье, со всех сторон посыпались крепкие базарные шутки. Между тем, автомобиль проехал несколько саженей и снова остановился.

Драгунский полковник принц Наполеон, восседавший на кожаных подушках и как бы ничего не замечавший, вдруг выскочил из машины, что-то сердито пробормотал себе под нос и быстро зашагал по направлению к дворцу наместника.

Пока шофер возился с машиной, шутники отвязали жестянку и прицепили ее к хвосту пойманной кем-то бездомной собаки. Потом собаку выпустили и заорали, затопали ногами, чтобы ее напугать.

- Это Николашка и его престол, — пояснил кто-то из толпы.
- А ну-ка, улепетывай!

Собака затрусила по улице, потом, подгоняемая грохотом жестянки, прибавила ходу, и наконец, обезумев от страха, помчалась со всех ног, увлекая за собой дребезжащую посудину.

Эта уличная сценка снова развеселила Кето. Улыбаясь, она пошла дальше, потом опять вспомнила Шукураули и воскликнула в душе: «Бродяга! Ничтожество!». Но гнев ее уже порядком остыл. «Что это с ним? Болен манией преследования?» — спросила себя девушка и обрадовалась своей догадке. «Ну, конечно. Наверно, так. Иначе он не посмел бы, ни за что не посмел бы... С этого дня я его близко к себе не буду подпускать. Нет худа без добра. Что у меня может быть общего с этим допотопным чудищем, обломком эпохи царя Фарнаоза? Ничего, решительно ничего!»

Со стороны дворца наместника показалась казачья сотня. Казаки в вишневых черкесках и черных папахах, с ружьями через плечо, сидели на лоснящихся вороных конях, бежавших резвой рысью. Все это были отборные, статные молодцы, и вид у них был лихой и грозный. В тесном кольце бравых всадников мягко катилось роскошное ландо, запряженное парой могучих вороных; осанистый кучер с окладистой черной бородой с трудом сдерживал горячих лошадей. В ландо восседали царский наместник Воронцов-Дашков и его супруга.

Никто не приветствовал их, не снял перед ними шляпу. Экипаж наместника и отряд его конных телохранителей промчался с громом по проспекту. Их провожали свистом, двусмысленными остротами и гоготом.

Кето продолжала путь. У парадного подъезда дворца стояли на часах еще два казака в вишневых черкесках, с саблями наголо. Была

пятница, приемный день княгини Воронцовой-Дашковой. Визитеры давно уже разъехались, сама хозяйка успела отобедать и отправиться на прогулку, а часовые все стояли на вытяжку по обеим сторонам парадной двери, уставясь в лицо друг другу.

У другого входа, в левом крыле, стоял, точно окаменев, дородный, бритый швейцар в длинной, до самых пят, красно-желтой ливрее. Пестрый, как попугай, и важный, он едва ворочал головой, окидывая то одного, то другого прохожего холодным надменным взглядом.

Миновав дворец, Кето пошла по узкой Дворцовой улице и скоро оказалась у Тамамшевского караван-сарайя. Ее невестка Тамара купила здесь на днях превосходные носовые платки и посоветовала Кето также приобрести их.

Первый этаж караван-сарайя был обнесен со всех четырех сторон узкой сводчатой галереей. Здесь торговали с открытых прилавков, расставленных в ряд вдоль прохода. Прилавков было не менее сотни, и на любом разбросано товара рублей на двести. Возле каждого прилавка хлопотали по два приказчика; один ловил покупателей, другой занимался с ними. Каждый торговец старался перекричать соседа, отбить у него клиента, зазвать как можно больше покупателей, чтобы уйти вечером с богатой выручкой. В караван-сарайе кричали, толкались, обрывали фалды посетителям; шум, гам и суета царили здесь, как на заправской бирже какого-нибудь большого европейского города.

Этот живой водоворот сразу подхватил, увлек, завертел Кето. Ее даже не спрашивали, зачем она пришла и что ей нужно купить. Со всех сторон налетели, как осы, приказчики; девушке орали прямо в ухо, точно глухой:

— Сюда, сюда! Ко мне пожалуйте! Вот пуговицы, первосортные пуговицы!

— Нет, посмотрите, какие чулки! Джан, что за чулки! Па, па, па!

— А вот ленты, кружева, тесьма, шнурки! Вах, вах, вах!

— Сюда погляди, красавица! Повернись к нам лицом!

— Барышня-джан! Не слушайте этого мошенника! Берегитесь, как бы не надул!

С великим трудом вырвалась Кето из этой толчей и пулей вылетела на площадь. Подумав, она решила навестить одну свою подругу, жившую на Авчальской улице.

* * *

Легкие, открытые с обеих сторон трамвайные вагоны с поперечными скамейками, дребезжа, катили вдоль улиц. Кето отыскала свой номер, но вагон был уже заполнен пассажирами. Заметив на одной из скамеек свободное место, она вскочила на подножку, но трамвай в эту минуту тронулся и сразу набрал скорость. Прежде, чем Кето успела войти в вагон, с противоположной стороны вскочил какой-то кинто и сел на единственное свободное место. Ватман словно нарочно все прибавлял ходу. Трамвай мчался под уклон по Пушкинской улице. Кето так и осталась висеть на подножке, ухватившись за поручень. Она побледнела, похолодела, рука ее ослабела и задрожала.

Вдруг за спиной у Кето на подножку мчащегося вагона вскочил какой-то крестьянин в старой шинели. Сильная рука его обвила талию девушки. Почувствовав поддержку, Кето облегченно оглянулась назад,



чтобы посмотреть, кто пришел
ей на помощь, и, улыбнувшись
в знак благодарности, снова
отвернула голову.

— Черный лебедь так пере-
пугался, что даже не узнал
старого знакомого! — неожи-
данно шепнул девушке на ухо
крестьянин.

Кето оглянулась еще раз.

— Боже мой! Барс! — вос-
кликнула она в изумлении. —
Но эта борода...

— Тсс! Молчите! Не назы-
вайте меня по имени. Борода
была необходима, и я ее отпу-
стил, — прошептал Гургени-
дзе. — Теперь меня зовут Ти-
мотэ.

— Тимотэ! — тихо засмея-
лась девушка. — Что ж, пусть
будет так. Знаете, Тимотэ, я
уже давно хочу вас видеть, но
все мои старания напрасны!

— Мы виделись всего месяц
назад!

— Месяц! Разве это мало?
Но кажется, легче встретить
Воронцова, чем вас.

— Вполне понятно! Ворон-
цов сидит у себя во дворце,
под охраной двух войсковых
корпусов и несчетного числа
жандармов да полицейских, а
я — бездомный скиталец, не
знающий, где его застанет
ночь и где встретит утро.

— А мне именно такая
жизнь и кажется желанной, —
воскликнула Кето.

— Да и меня она не пугает, только...

Зураб не закончил: в двух шагах от них, на базаре, мимо которого
мчался трамвай, словно из-под земли вырвалось пламя. Яркая вспышка
на мгновение озарила улицу, а за молнией последовал гром, от оглуши-
тельных раскатов которого затряслось все вокруг.

Вагоновожатый затормозил так резко, что пассажиры попадали
вперед.

Какие-то женщины в трамвае пронзительно закричали.

Кето невольно тоже вскрикнула: «Ой!», и хотела соскочить с трам-
вая, но Зураб железной рукой удержал ее, втолкнул в вагон и крикнул
ватману:

— Гони быстрей, простофиля, чего ты раззевался!

В трамвае не осталось и половины пассажиров: остальные, потеряв

голову от страха, выскочили с риском сломать себе шею. Трамвай сорвался с места и полетел вперед. И тотчас же справа, слева, сзади загремели ружейные и револьверные выстрелы, засвистели пули.

Кето смотрела из мчащегося вагона. Несколько казаков мелькнуло перед нею. Один сидел на земле, привалившись спиной к столбу; лицо у него было залито кровью — словно закрыто алоей маской. Другой корчился на земле, пытаясь высвободиться из-под убитой лошади. Третий, распластавшись ничком, царапал ногтями мостовую, тщетно пытаясь приподняться. Лошадь, потерявшая всадника, металась по улице с пронзительным ржанием.

Охваченные ужасом люди бежали врассыпную, сами не зная куда.

Трамвай домчался до Орбелиановского квартала и круто, не замедляя хода и чуть не опрокинувшись, повернул налево. Стрельба участлилась, но доносилась теперь гораздо глуше.

— Ну вот, мы и в безопасности. Можете теперь ничего не бояться, — сказал Барс трепещущей от волнения Кето.

Он сел на скамейку рядом с нею, прислонил свою палку к колену и поправил на голове тушинскую шапочку.

— Боже мой, эти казаки... — простонала Кето.

— Тише, тише... Вы же сказали, что привыкнете и не будете бояться крови!

— Сказала... Но как это трудно, Зураб... Нет, Матэ... Ах нет, Тимотэ!.. Боже мой, я совсем потеряла голову...

— В такое время, как теперь, настоящий борец за свободу должен быть тверд, как кремень.

Кето подняла глаза на невозмутимое лицо крестьянина и пробормотала:

— Вы совершенно спокойны... Счастливый человек! Ну вот, и я успокоилась. Но эти казаки все еще у меня перед глазами!

— Забудьте о них, слышите! Так вот, я хотел сказать, — возобновил Зураб прерванную беседу, — я хотел сказать, что вам только издали нравится моя бродячая жизнь. А сами бы вы и недели не выдержали... Вы ведь нежный цветок: чуть что — и завяннете!

— Ну, если Марта может выдержать...

— Марте не приходится скрываться.

— И мне не придется... А дело я могу делать не хуже Марты.

— Марта тверда, как скала, и нема, как могила. А вы, — Зураб наклонился к ней и шепнул, на мгновение коснувшись губами ее уха: — А вы, повторяю, нежный цветок...

Они сидели, стиснутые соседями, тесно прижатые друг к другу. Нечаянное прикосновение губ Зураба обожгло Кето, как огонь. Она вся зарделась и отвернула лицо. Потом, после долгого молчания, вновь повернулась к Гургенидзе.

— Куда вы направляетесь?

— На похороны одного нашего товарища. Он погиб вчера геройской смертью от руки фараонов.

— Возьмите меня с собой! — взмолилась Кето.

— Что ж, едем... Но предупреждаю: там будут, наверно, свистеть нагайки, а то и пули. Поэтому...

— Вот и хорошо, — прервала его Кето. — Надо же мне привыкать! Зураб засмеялся.

— Плетея захотелось?

Улыбнулась и Кето.

— Да нет, я вовсе не жажду попробовать казачьих нагаек...

— Значит, пусть попробуют их другие, а вы будете любоваться зрелищем, как сегодня на базаре?

— Нет, нет, совсем не то!..

— Так что же?

Кето смущалась и долго искала ответа.

— Мне хотелось бы принять участие в борьбе, — сказала она наконец. — Чтобы у всех нас одинаково горели спины... Но чтобы и мы наставили синяков нашим врагам.

— Вот этими нежными, мягкими лапками? — И Зураб крепко сжал своей сильной ладонью маленькую руку в белой лайковой перчатке.

— Разве наши мужчины не вооружены?

— О, мы вовсе не проповедуем непротивление злу, — ответил Зураб. — Но бессмысленно растрачивать наши силы в случайных стычках. Мы предпочитаем уклоняться от ненужных столкновений. Революция набирает силы, готовит мощный удар. Скоро мы начнем генеральное сражение. Придет пора, отомстим и за нагайки, и за каторгу, и за пролитую кровь наших товарищей.

— Ну, не очень-то вы терпеливы, — улыбнулась Кето. — Не проходит дня без столкновений, и все эти защитники монархии дрожат за свою шкуру...

— Это только репетиция, а главное будет потом... Так вы идете со мной?

— Иду, конечно.

— Тогда нам здесь сходить.

Они вышли из трамвая и свернули в узкую, извилистую улицу. Зураб достал из кармана записную книжку и отыскал в ней адрес убитого рабочего.

— Что это такое? — спросила с улыбкой Кето, указывая на засущенную розу, заложенную между страниц записной книжки. — От кого эта роза? Кто вам подарил?

— Одна девушка, — ответил с лукавой улыбкой Зураб.

— Это мне и так ясно. Я даже могу сказать, какая именно девушка.

— Ну так угадайте!

— Конечно, Марта.

Зураб улыбнулся.

— Почти угадали, — сказал он. — Совсем близко подошли. Еще несколько шагов — и вы у дверей этой девушки.

У Кето сладко забилось сердце. Она потупила вспыхнувшее лицо и еле слышно спросила:

— Давно вы получили цветок?

— Три месяца назад...

Именно этого ответа и ожидала Кето. Как раз три месяца прошло с того дня, когда она впервые увидела Зураба и подарила ему вот эту самую розу. Она ясно вспомнила этот день и спросила дрогнувшим голосом:

— Неужели эта девушка так глубоко запала вам в сердце, что вы целых три месяца храните подаренную ею розу?

— Я буду хранить эту розу три года... Тридцать лет...

Девушке стало жарко. Она достала из сумочки сиреневый шелковый платочек и провела им по горячему лбу. Зураб взял у нее из рук прозрачный кусочек шелка и жадно вдохнул его запах.

— Цвет сирени. Будь у меня талант поэта, я, кажется, излил бы свои чувства в стихах...

— Выразите их хотя бы чужими стихами!

Они остановились посреди улицы.

Немного помолчав, Зураб прочитал чуть дрожащим от волнения голосом:

Ты помнишь, как мы бродили,
Красавица, в старом саду?
Счастливые дни... Мы любили,
Мы были в блаженном бреду.

Розан, росой окропленный,
Ты бросила мне — «Лови,
О мой сумасброд влюбленный,
В знак нашей вечной любви!»

Но ты и сама не знала,
И мог ли подумать я,
Что раньше той розы алой
Завянет любовь твоя!

Несколько мгновений они стояли молча. Потом пошли дальше. Кето задумчиво повторила про себя последние строки:

— «...И мог ли подумать я, что раньше той розы алой завянет любовь твоя...» Неужели любви в самом деле суждено иметь такой короткий век?

— Не знаю... Я еще никого не любил...

— Это правда? Можно ли поверить? — не получив ответа, девушка потянулась за своим платочком. — Отдайте мой платок.

— Не отдам. Пусть останется у меня. Вместе с розой, — ответил Зураб, пряча шелковый лоскуток в нагрудный карман.

— Что ж... Если вы хотите... — согласилась Кето. — Но дайте мне что-нибудь взамен.

— Взамен?.. Ах, да... Хорошо, извольте.

Зураб сорвал бумажную обертку с только что купленного томика стихов Ильи Чавчавадзе, раскрыл книгу и написал на титульном листе химическим карандашом: «И мог ли подумать я, что раньше той розы алой завянет любовь твоя. Зураб».

— Вот, пожалуйста... Дарю с условием: всякий раз, как раскроете книжку, вспоминайте меня.

Кето взяла книжку и спросила:

— Вы любите стихи Ильи?

— И стихи, и поэмы, и повести... Я считаю, что поэма Ильи Чавчавадзе «Отшельник» стоит в одном ряду с лучшими произведениями мировой литературы.

— Этого я не ожидала, — изумилась Кето. — Ведь вы и ваши друзья так часто полемизировали с Ильей Чавчавадзе... А между тем, оказывается, вы так высоко ставите его!

Продолжение следует

Колау Надирадзе

Стихи разных лет

ВЕЧЕР НА САТАПЛИИ*

Чуть слышно шелестя росистыми ветвями,
Нисходит вечер к нам с охапкой пряных трав.
Он шел, скользя с небес, алмазными путями,
Багрец и золото в лазури растеряв.

В безбурных небесах, сверкая ледниками,
Одни вершины гор горят в огне зарниц.
Безмолвно все вокруг; закрой глаза руками
И слушай трепет крыл летящих в гнезда птиц.

О мир и тишина! Здесь все покоем дышит,
Здесь жизнь сама на миг в задумчивость ушла...
Здесь поступь вечности порою сердце слышит
И чует, как из трав ползет и тишь, и мгла.

Постой пока! Рой звезд своих очей лучистых
Не раскрывал еще в лазурной вышине,
Но близок этот миг — родник прозренья чистый,—
И мудрость, и покой дарующий душе.

1932 г.

ЗНАЮ, ГОРОД МОЙ...

Перевод с грузинского К. Арсеневой

Застигла ночь, — но верю неизменно,
Что в эти потаенные часы
Ты дашь коснуться мне земли священной
И утром дашь испить живой росы.

Войны испепеляющей пожары,
Тбилиси, не пытают над тобой.
Трепещет сердце, как листва чинары,
С тобою я живу одной судьбой.

* Стихотворение написано автором на русском языке.

Померкнут звезды, и рассвет настанет,
Услышу бурной радости приток,
Улыбка на лице моем проглянет,
Как распустивший лепестки цветок.



СНЕГ ИДЕТ

Перевод с грузинского С. Стациенко

Снег идет, и снежинки мерцают,
Но они не волнуют теперь.
Я последнюю песню кончу,
Закрываю заветную дверь.

А когда-то снежинки мне пели,
Долетая ко мне с высоты,
Вместе с музами у колыбели,
Голубые дарили цветы.

Снег шуршит...

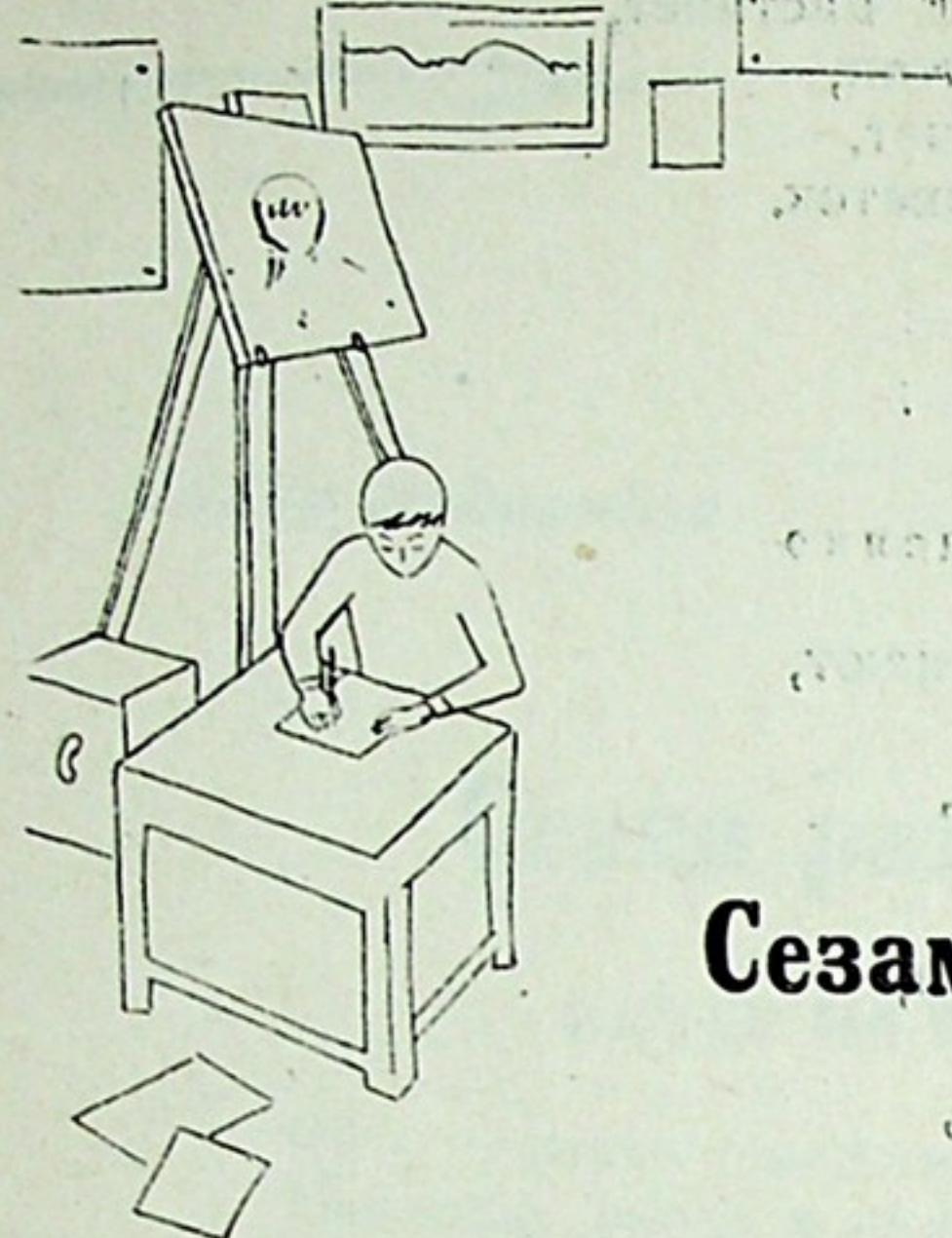
Это времени шорох.

Помолчи о нем, боль, помолчи!
Скоро сердца биение, скоро
С ним сольется в холодной ночи.

Снег идет. Я весну вспоминаю,
Отзвеневшую юность любя.
Ты уснула давно, дорогая,
Тихо падает снег на тебя.

Что несет он с собою — не знаю...
Шорох снега — твой голос родной
И улыбка твоя неземная,
Что навечно осталась со мной.

Снег идет, и снежинки мерцают,
Но они не волнуют теперь.
Я последнюю песню кончу,
Закрываю заветную дверь.



Римма Канделаки

Сезам, отворись!

СРАСКАЗ

Рис. З. Церетели

I

— Я хотел бы нарисовать ветер, — сказал мальчик, — и не знаю, как.

— Трудновато! — согласился художник. — Вопрос «как» в нашем деле — сложный. Над этим немало народа было.

Они сидели на чердаке большого дома. Дул ветер. Был полдень. Мальчик огорченно глядел на пустой лист бумаги. Художник жевал огурец, и глаза его смеялись.

Вокруг царил беспорядок рабочей мастерской: стояли банки с красками, бутыли с растворителями и лаками. Валялись кисти, рулоны бумаги. К одной из балок чердака художник прикрепил длинный картон с рисунком будущего панно и сейчас разглядывал, прищурясь. В углу свешивалась замшевая паутина. Пахло скрипидаром.

— Хочу нарисовать ветер, — упрямо бормотал мальчик.

— Тогда давай берись за дело. Нельзя же добиваться чего-нибудь сложа руки. Художник должен мыслить с кистью в руке. Как сказал мой друг Бальзак.

Слыхал. Ну его в болото, этого друга. Леня его ни разу в глаза не видел... Вечно у Константина Константиновича этот Бальзак на языке.

С кистью в руке! А у Лени не кисть — кисточка. И узкая черная коробочка акварельных красок, как

у других ребят в школе. И детский альбом для рисования. «Небогатое хозяйство, — горько думалось ему, — много ли с ним сделаешь». Скучные четырехугольники акварели не вызывали в мальчике волнения. То ли дело масляные краски в деревянном ящике, с ним художник не расставался и носил его, как военные носят планшет, на ремне через плечо! Вот это был «материал». Густые, яркие, радостные краски! Самые имена их звучали необыкновенно: кадмий светлый, кадмий оранжевый, сиена натуральная, сиена жженая. Еще заманчивее: умбра, киноварь, ультрамарин, горная зелень. А фиолетовый кобальт, а краплак, а слоновая кость? О, эти названия пели.

Неожиданно для себя мальчик взбунтовался.

— Зачем смеешься. Константин Константинович? Чем смеяться, лучше взяли бы да показали — как.

Художник в ту минуту вымерял карандашом размеры и соотношение частей на картоне. Он медленно повернулся к мальчику и поглядел на него, как стрелок на мишень: сурово, остро, в прицел. Потом стал подыматься, а поднявшись, резко отшвырнул табурет ногой и зашагал по чердаку.

— Слыхали? Он придумал — что, я, оказывается, должен показать. как! Подсунуть шпаргалку, сообщить рецепт, разжевать да в рот положить. По-твоему, это и есть учеба?

Поздравляю! — Художник насмешливо шаркнул ногой, подняв тучку чердачной пыли. — Не ты один так думаешь. К сожалению, у тебя не мало единомышленников. Представь, немало!

Зашагал крупно, пригибая голову там, где нависли стропила, и отрывисто, как плевки, бросал неприятные слова:

— Иждивенцы! Любители готовеньского! Есть еще у нас такие. Есть!

Потом, остановившись над Ленькой, крепко ткнул его пальцем в грудь (мальчик качнулся вместе с табуретом):

— Ты! Почему боишься пробовать? Риску опасаешься? Почему бы тебе избегать риска? Ведь с тобой-то ничего не будет.

Ленька растерянно моргал — маленький, вихрастый.

— Если удача — похвалят, если неудача — тебя, поверь, не тронут. Ты от своей ошибки, вроде, в стороне. Наоборот: еще пуще станут оберегать, пушинки с тебя сдувать... — (Он заговорил бабым голосом, пересказывая кого-то). — Ах, не трогайте его! Ах, это молодое дарование. Ах, создайте ему условия для творческого роста...

Поднял кверху сильные кулаки:

— Тепличные ростки... Настоящее условие для творческого роста, если уж хочешь знать, это прежде всего — риск. Риск, борьба и поиск. Неустанный поиск, постоянные мучения, чертовы мучения в решении задачи, которую никто, кроме тебя, ни поставить, ни выполнить не сможет. Понял? Твоя задача, твой и ответ.

Переведя дух, будто сейчас только увидел своего собеседника: маленькая голова, нос в крапинках, узкие плечи, расцарапанные голые колени...

— Сколько тебе лет-то, молодое дарование?

— Мне? Десять.

Тут Константин Константинович бурно расхохотался. И давай ерошить Лёнькины вихры, ущемлять веснущатый нос костяшками двух пальцев, — словом, всячески показывать, что они остались приятелями.

Леня, отышавшись, гнул свое:

— Как же он рисуется, ветер-то?

— А ты спроси вон у той ивы.

Обняв за плечи, художник подвел Леньку к широчайшей проруби чердачного окна. Дух захватывает — глядеть на жизнь с высоты! Этажа ведь не шуточный: восьмой.

Весь город видно. Вон река, судоверфь (там работает отец), дымки труб, паутина дорог. Даже лес — такой дальний, что до него если идти, не дойдешь и к ночи — отсюда будто рядом.

Облака гуляют вокруг чердака, как прирученные. Эх, высота! Екнуло сердце. Одолело знакомое неукротимо-дикое желание — высочить из окна, распластаться и полететь. Леня был почти уверен, что не упадет. Если, к примеру, зацепиться вон за то ленивое толстое облако? Куда это облако потянет его за собой, в какие понесет заморские края? Быть может, в сторону неведомой умбии, где лежат жженые сиенские земли. Или к берегу слоновой кости, у подножия горной зелени, — туда, где охотятся оранжево-черные краплаки (Леня выдумал себе дикое племя с таким названием) и нападают на крокодилов и...

Пренеприятная привычка — толкать человека в бок, стоит тому замечтаться! Но Константин Константинович не терпел бредней, пустых мечтаний о всяких несбыточных вещах.

— Действуй! Так что же тебе говорит эта ива?

Ах, да, ива. Ну, ива как ива. Сколько раз Леня, закатав штаны, бегал с товарищами вокруг ее морщинистого ствола, играя в разведчиков и партизан. Ничего ива ему не говорила. Да и чему может обыкновенное дерево научить человека?

— Очень многому. Например, умению видеть.

В подтверждение своих слов художник забросал мальчика вопросами: какой формы верхушка дерева? Круглая, говоришь? Вот и неверно. Не спеши, подумай. А какого цвета листва? Уж будто бы зеленая? Я бы этого не сказал. Оказывается, ты еще не научился видеть. А должен. Должен уметь. Она закачалась... Теперь гляди, гляди в оба!

Сильный порыв ветра сотряс иву. Она заметалась, почти легла на дорогу, а вывернутая ветром наизнан-

ку ее листва засеребрилась и засияла нежной голубизной.

— Эге! Ива-то седая.

— Увидел?

Мальчик схватил альбом, чтобы не мешать, Константин Константинович отошел и глубоко задумался, сунув руки в карманы. Густая, седоватая прядь свесилась на лоб. Резкие морщины пролегли от ноздрей к углам рта. Доброта, которую художник остерегался показывать людям, усталость, свойственная пятидесятилетнему человеку, властвовали над ним в ту минуту. Он выглядел старым.

А Леня просиял, повеселел. Он трудился вовсю. От его кисточки так и летели брызги. Скоро на листке появился силуэт согнутого растрепанного дерева. Тогда художник неслышно подошел сзади.

— Так-то, брат. Вон он, твой ветер! Гуляет за окном, ходит себе на свободе, неуловимый, как дыхание жизни. Его не видать, а он есть. Попробуй, пригвозди это дивное дыхание к бумаге. Думаешь, нельзя?

Мальчик покрутил головой, вздохнул: нельзя.

— Можно! Все, что существует в мире, поддается изображению, запомни это, Леня, все! В том-то и могущество и сила чудесного дара человеческого, к которому тебя так неодолимо тянет.

Леня с надеждой глядел в острые глаза учителя, окруженные сетью длинных морщинок.

— Ты хотел бы поймать ветер? Ничего тут несбыточного нет. Скажи, присматривался ли ты когда-нибудь к тому, как ведут себя предметы и люди в ветреную погоду? К примеру, нарисуй сейчас струи дождя...

Леня быстро изобразил кисточкой на листе некое подобие восклицательных знаков.

— Хорошо. Но ведь здесь у тебя прямые струйки. Значит, дождь в тихую погоду. А при ветре дождевые струи не такие. Они...

— Косые! Косые!

Леня радостно забарабанил пятками, быстро провел на бумаге справа налево сеть косых линий. — Понял, не мешайте! — сделал нетерпеливый жест рукой. Художник снова отошел к своим картонам — вымерять, прикидывать, а мальчик, примостившись у окна, начал по-

спешно населять альбом всевозможными изображениями отменно дурной погоды.

Грозные тучи с мордами ^{16.03.1955} ~~тракторами~~ тракторов и чудовищ мчались впередонки. Черные молнии бороздили небо. По земле бежали маленькие человечки в плащах с капюшонами. У одного сорвало шляпу, и он за ней гнался, у другого зонт вывернуло наизнанку, спицами вперед. Шарфы немыслимой длины извивались над головами бегущих, полы их плащей криво загибались. Косые линии бороздили листы, и все в альбоме полно было необычайного движения.

На чердаке стояла особая, рабочая тишина.

Знакомая пичуга присела на раме окна, подвигалась на ней с подскоком, обиженно пискнула и улетела. Ей сегодня не бросили крошек.

Наконец Леня встал, потянулся, отложил работу.

— Вот ты по-настоящему нарисовал ветер! — заметил художник и отправил в рот хрустящий огурец.

2

Константин Константинович получил мастерскую на чердаке всего полгода назад. Он был приезжий человек, специально приглашенный из столицы для росписи здания клуба водников. Знакомых в городе у художника почти не было. И он все дни проводил на чердаке, углубленный в работу. А как попал сюда Лёнька?

Начало их знакомству положил ключ. Обыкновенный, старый, ржавый и вдобавок затерянный ключ.

Ключ был утерян и, видимо, безвозвратно. Его долго искали, но так и не нашли. Должно быть, провалился сквозь рваную подкладку пиджака, или уборщица вымела его вместе со стружками, обрезками, всяким строительным мусором на свалку.

Художник не тужил о потере и достал где-то хитрую штучку.

Вещица отпиралась и запиралась без ключа: достаточно было набрать одно, известное владельцу, четырехзначное число, сложив его из различных цифирек, свободно вращавшихся на стальной дужке. И дужка отскакивала, замочек отпирался.

Комендант сухо одобрил: — Законная вещица! — И ушел, оскор-

бленно волоча за собой железный крендель.

Леня в то время «вел наблюдение за чердаком № 1».

Это была его собственная, для себя выдуманная игра. Удобно в летнее, жаркое время, когда все товарищи поразъехались и приходится играть одному.

В углу полутемной чердачной площадки, где удавом раздувшееся колено труб центрального отопления маскировало «радиопередатчик» (спичечный коробок), Леня каждый день прилежно «стучал ключом» (обломком щепки). И шепотом сам себе rapportовал: «Неизвестный проследовал в обычное место явки 111—333, набрав на секретном замке неизвестную цифру».

Увы! Цифра, зная которую можно отпереть замочек, оставалась нерасшифрованной...

Тщетно пытался Леня подсматривать — какое число набирает Неизвестный. Широкая спина незнакомца всякий раз заслоняла собой дверь. Да и освещения на чердачной площадке явно не хватало.

Однажды разведчик попался. Крепкая рука вытащила его из-за батареи и поставила перед Неизвестным — так, что свет падал прямо Лене в лицо. Вихры, веснушки, утенный нос, дерзкая усмешка — весь набор ленькиных опознавательных признаков...

— Что ты здесь делаешь? — грозно спросил незнакомец.

Брат не имел смысла.

— Слежу за вами.

Тот раздул ноздри, скорее удивленно, чем сердито фыркнул. И крепко потряс мальчишку. Лене на секунду показалось — лестница перевернулась верхним концом вниз... Потом все встало снова на свои места. Художник проследил направление Ленькиного взгляда... Тогда-то он догадался:

— Ага! Вот оно что! Тебе хочется знать секрет замка? Нет, брат, тут хитростью да подглядками не возьмешь. Это — для честного обращения. Для того, чтобы проныры, вроде тебя, не пролезали в мастерскую без спроса. Ты мог бы и сам открыть, если б меня спросил — как!

Похоже было, что этот пожилой человек сам не прочь иногда по-

играть! Он повернулся к двери, поклонился над замочком, простер торжественно руку и низким густым голосом произнес заклинание:

— Сезам, отворись!

Неуловимым движением передвинул цифры замка.

И дверь отворилась. Так Леня впервые в своей жизни переступил порог художественной мастерской.

Ноздри его защекотал чердачный запах с вливающейся в него очень сильной струей скипидарно-лакокрасочных ароматов. Запах, с тех самых пор прочно и навсегда въевшийся в Ленькину память чувств — самую крепкую нашу память. Посередине чердака, купаясь в потоке ровного и мягкого света, на высокой подставке покоилась тайна художника... Тайна, загадка!

Нежное лицо удлиненной формы глядело на вошедших с холста. Длинные руки, скрещенные у выреза платья. Длинная шея стебельком клонилась вперед. Тепло лучились глаза, розовело маленькое ухо и тонко изгибалось в полуулыбке губы.

Но стоило мальчику сунуться поближе к холstu — все, что сияло, пело, лучилось, тут же исчезло в мгновение ока. Осталась каша грубых мазков, лепившихся в пестрой неразберихе. Отодвинулся, отступил на шаг — снова теплое тело, снова живой прелестный облик девушки!

— Моя дочь, — хмуро сказал художник. Окутал загадку холстом и наставительно добавил: — Близко смотреть нельзя.

3

О том, что в мастерской можно и чего нельзя, Леня узнавал постепенно, по мере того, как крепла их дружба.

Можно было помогать художнику: таскать ведро воды ежедневно на восьмой этаж (водопровода на чердаке не было), мыть кисти, оттачивать карандаши, выносить корзинку с мусором (жгутом скрученные, порваные бумажки с незаконченными или испорченными рисунками). Можно было помогать натягивать холсты на подрамники. К концу лета Леня выучился это делать довольнолично, держа крохотные гвоздики в

зубах и ловко вгоняя их в деревянные квадраты по одному. Можно было самому рисовать — и это особенно приветствовалось — когда вздумается и что вздумается.

Но много было разных «нельзя».

Нельзя в рабочее время задавать вопросы. Нельзя останавливаться за спиной работающего. Или прикасаться к неоконченной работе. Или пытаться повернуть то, что прислонено к стене. Нельзя интересоваться частной жизнью. Например, допытываться: «сколько вам лет?», «где живете?», «много ли денег вам платят?». Почему-то не терпел художник самых обиходных восклицаний: «Лихо!», «Сила!», «Законно!», ядовито прося Леньку не терзать его слух подобными словечками.

Ленька быстро переключился на мимику. В рабочие часы оно даже удобнее: удовлетворение выражается поднятием большого пальца, неудовлетворение — пожатием плеча, восторг — бесшумной чечеткой босых ног под табуретом, появление аппетита — потиранием живота.

На чердаке царила железная дисциплина. Она удивительным образом сочеталась здесь с большой свободой.

Мальчик мог исчезнуть на несколько дней — Константин Константинович этого даже не замечал. Ленька мог притащить в подарок корзину огурцов с огорода или пучок моркови — художник принимал дар без «спасибо», без вопросов. И тотчас устанавливал принесенное на высоком столике-треноге.

Съестное с той минуты становилось натурой. А натуру, оказывается, есть нельзя.

Константин Константинович тоже исчезал. Он уезжал далеко за реку, называя это «закатываться на этюды». Леня терпеливо ждал его возвращения. Каким удовольствием для обоих был потом разбор привезенных художником из поездки гибких кусочков холста, пахнувших свежей краской и говорящих чудесным языком живописи о дальних, глухих уголках края! О лесных озерах, подернутых сизым туманом, о тропинках, уходящих в чащобу. Лене почему-то больше всего нравилась «Сторожка в лесу». Выхваченная, солнечным лучом из соснового сум-

рака, с ярким пятном мальвы у входа:

Он так привык любоваться этим холстом, что видел даже с закрытыми глазами: мальва, пятно солнца, крыша.

— Видимо, тут удачно решен вопрос «как», тот, что тебя всегда интригует, — вскользь заметил художник и вновь углубился в работу.

После поездки Константину Константиновичу, видно, легче давался труд над его огромными панно — он насвистывал, усмехался своим мыслям и, видимо, был чем-то доволен.

У Лени однажды выпала из кармана сильно помятая книжка: «Библиотечка военных приключений». Художник поглядел, полистал и пренебрежительно — словно требуху — бросил на пол.

— Уж не эта ли книжонка научила тебя подглядывать, подслушивать, вести глупую слежку в закоулке — вместо того, чтобы открыть глаза на наш превосходный мир? О-о, скучные писаки! Подлинную наблюдательность детей пытались подменить фальшивкой! И — никакой фантазии, вот что удивительно. Штампуют своих диверсантов, будто макароны.

Больше Леня не приносил на чердак «чтиво».

Зато однажды сам Константин Константинович принес обрывок иллюстрированного журнала и неподительно щелкнул пальцем портрет какого-то приятного, солидного гражданина на первой странице. Леня успел разглядеть внизу слово «Юбилей...» Да еще странную фамилию. Не то Клей, не то Кнель.

— Юбил-лей! Маститого! Деятели! — с расстановкой прочитал Константин Константинович. — Да, это — деятель, ничего не скажешь. Такой деятельный, что плодит и множит свою продукцию в бесчисленных вариантах и повторениях. Знаешь, как таких называют? Халтурщик. — И горько вздохнул, но тут же спохватился: — А ну, пацан, за работу. По местам!

К концу лета работа на чердаке шла полным ходом. В середине сентября новый клуб водников должен был открыться. Константин Константинович в неистовом напряжении заканчивал огромное панно. Ел и пил

он теперь на ходу, мало спал, вставал с рассветом.

И совсем разучился говорить.

А Ленька служил ему связным: летал на крутой берег реки, где празднично высилось очень большое, белое с колоннами, новое здание. И возвращался, весь испятнанный извостью, захлебываясь от новостей:

— Новую бочку раствора выкатили. Штукатуры стену готовят. Электропроводку привезли. Архитектор ногу расшиб, хромает. Из центра ждут комиссию.

...И вот в городок приехала комиссия.

Ее приезд тайно волновал Константина Константиновича. Он готовился к смотру. Даже облачился ради столичных гостей в новый костюм. Был выбрит, свеж, подтянут. Расхаживая по чердаку, он пел бравурную мелодию, а Леня с любопытством смотрел на совсем нового, непохожего на прежнего Константина Константиновича и поворачивал рыжеватую голову ему вслед, как подсолнух оборачивает венчик к солнцу.

Но — случилось нечто совсем не-предвиденное.

Первым из представителей комиссии перешагнул порог чердака странно знакомый, хотя совершенно чужой человек. Любезно улыбающийся, с приклеенными к черепу жидкими волосами, пухлый, в превосходном заграничном костюме... Тот, чей портрет в журнале вызвал когда-то гневные замечания Константина Константиновича. «Юбиляр!» — чуть не вскрикнул Ленька.

Он вошел, приветливо протягивая пухлую руку розовой ладонью вверх и нежно улыбаясь кончиками губ. А Константин Константинович с приближением Клейста мрачнел, старел на глазах. И по-бычьи нагнув голову, глядел недоверчиво, исподлобья.

Члены комиссии, между тем, рассыпались по чердаку. Казалось, им тут нравилось. Они громко, весело переговаривались. Приятельски и одобрительно хлопали Константина Константиновича по плечу. — Недурная мастерская! Повезло... Молодец, что переехал из Москвы. Здесь, наверно, хорошо работает...

Леньке неприятно было: чужие люди топали по мастерской художника, словно по уличной мостовой. Брали и переворачивали к себе ли-

цом (не спрашивая разрешения!) этюды, эскизы, наброски. Осматривали картоны и чертежи. Громко, а главное — бесцеремонно обсуждали их. Неужели они никогда не слыхали, что к чужим картинам, к чужой мастерской подходят осторожно: «Сезам, отворись!» Нет, такой сказки они не знали!

Закончив осмотр, все гурьбой повалили на набережную, в клуб водников. Леня побежал за взрослыми. Он издали увидел: на пороге клуба, между двух колонн, сам председатель горсовета — улыбающийся, расфранченный — ждал комиссию. Вежливым жестом он пригласил гостей войти. Но Константин Константинович нарочно отстал, шагая вместе с малярами и штукатурами позади всех.

Вечером комиссия уехала обратно в столицу.

А художник сидел, сгорбленный, на прибрежном бульваре, курил и глядел на огни бакенов.

4

Подошла осень. Грибная, сырья. Неприятности, как дожди, — выпадают, когда их не ждешь.

Алевтина Петровна, прослышив о занятиях ученика третьего класса «Б» живописью (и откуда только в школе все узнается?), ласково попросила Леню нарисовать «большую картину» для школьной выставки.

Леня корпел два дня, испортил массу бумаги, наконец закончил картину и принес в класс. Как водится, ребята третьего класса «Б» тотчас навалились сзади и с боков, зажав автора в тиски. Но Алевтина Петровна бережно взяла большой лист кончиками пальцев и строго приказала — не шуметь: картины полагается смотреть тихо!

Подпись под ландшафтом — не очень грамотная — гласила «Вид с окна».

В широчайшее окно был виден весь родной город целиком: маленькие трехоконные домики Заречья, до крыш осевшие в землю. И рядом вертикальные коробки новых зданий. Замысел художника отличался размахом: пунктиром он довел число этажей до тридцати-сорока (это вызывало недоверчивый ропот зрителей).

лей: «Так не бывает!» «У нас таких не строят!» «Наш городок — маленький». Стрелы башенных кранов проникали облака. По земле разгуливали шагающие экскаваторы, а с неба пассажиры самолетов посыпали им приветы. Посередине окна возвышалось нечто овальное, керамически-рыжего оттенка.

— Премило, премило! — пропела Алевтина Петровна. — А вот и ваза для цветов на подоконнике. Глиняная с двумя ручками. Жаль, ты не воткнул в нее ромашки!

— Никакая не ваза, это моя голова, — упавшим голосом оборвал Ленька, — никакие не ручки, это мои уши. Сказано: вид с окна. Значит, это я смотрю.

Класс дружно грохнулся. Алевтина Петровна мелко затряслась, прикрыв губы платочком. Оглушенный, растерянный, Ленька выскочил в коридор. И там же в клочья изорвал злополучный «Вид с окна».

— Вот это уж зря, — заметил художник, когда Леня поведал ему о своей неудаче. — Не беда, если зрители смеются. Смеются здоровые, хорошие ребята. Значит, надежда есть. Не поняли сегодня, поймут завтра. А ты старайся делать свои вещи такими, чтобы они доходили до всех. Только не уступай в самом важном. Важное — это твоя мысль. То, во имя чего ты берешься за кисть. Понял? Твой вид с окна важен тем, что ты глядишь в завтрашний день. А это в искусстве — главное.

5

В октябре на чердаке стало темнее, холоднее. Короткий день клал предел работе. Только разгонишь ее, уже свертывайся: пятый час.

Электропроводки на чердаке не было. Комендант уехал.

Константину Константиновичу предложили вести занятия в городском ремесленном училище, обещая вместо чердака «выделить» другое помещение. Он кратко сообщил новость Лене:

— Готовься, мастерская скоро переедет.

Что-то обрывалось безвозвратно, отлетало, как осенняя белая паутина. Леня удивленно прислушивался к печальному напеву, звучавшему в нем самом и вокруг.

— Это ветер, — сказал художник, не любивший бредней, — осенью всегда так.

Но Леня знал, что это ~~не только~~ ветер.

6

Чердак закрыли до весны. В последний раз замкнули стальную дужку. Оба друга торжественно спустились по бесчисленным ступеням высокого дома. Не было сказано ни слова.

Во дворе оба оглянулись на окно, темневшее в сумерках. Леня прощально помахал рукой.

— Мы еще туда вернемся! — бодро заметил художник, прыгая через лужи.

— Вы-то вернетесь. Я-то не вернусь.

И Леня с горделивой грустью сообщил, что отец — «законтрактовался». Слово «законтрактовался» так часто звучало теперь в трехоконном домике мастера судоверфи, что сын успел привыкнуть к нему, как к чему-то зыбкому и маловероятному. Но сейчас оно твердо обозначалось: отъездом, сборами, подъемом всей семьи мастера судоверфи в дорогу на Кавказ.

Отец ехал в Грузию на строительство гидростанции в горах.

Константин Константинович шумно обрадовался за Леньку.

Семья едет в Грузию? Вот удача! Великолепно! Ленька увидит Черное море. Знает ли Леня вообще, что такое море, каковы на нем волны — вышиной с двухэтажный дом! А корабли дальнего плавания? А рыбы — огромные дельфины, играющие у берегов? В горах — еще интереснее: леса густые, первозданные — до самых облаков. Охота на кабанов, на горных туров... А какие пещеры открывают альпинисты в горах! Это тебе не книжонки о приключениях. Это — настоящая жизнь.

— Я жил в Грузии, это чудесный край.

Вспоминая бродячую молодость, художник говорил с непривычно веселой горячностью. Но Леня плелся вяло, отставая и вновь догоняя. Мальчик шел, опустив голову, он сердито давил каблуками стручки акаций, сухие листья, сам не понимая, что с ним. Константин Констан-

тинович наконец остановился и круто повернул его за плечи к себе.

— Рисовать не бросишь?

Вот, вот! В этом главное. Где и с кем он будет там, в горах, продолжать полюбившееся ему занятие? Может, для ребят есть и в горах школы? Конечно, есть. Но в школах рисуют только гипсовые носы, пластмассовые яблоки. Скучно? Не то, совсем не то, что с Константином Константиновичем. Зачем делать то, что скучно?

И вдруг Ленька изменил решение: он, пожалуй, не станет художником.

Он, пожалуй, лучше станет строителем. Башенные краны притягивали его с каждым днем все сильнее. В Грузии, наверно, нужны строители. Как смотрит на это Константин Константинович?

— Превосходно! Строитель должен дружить с живописью, — к удивлению Лени одобряюще ответил художник, — ты можешь совместить оба свои увлечения, потому что строителю нужна живопись. Зодчие древней Руси и древней Грузии одинаково хорошо это знали.

Впятьмах они дошли до нового дома, где жила семья художника. Чужой, незнакомый переулок... Леня впервые провожал сюда старого друга. Ощущив какую-то неясную неловкость, он хотел попрощаться. Художник удержал, положив ему руку на плечо. Большую, теплую руку — сегодня особенно ощутимо ее тепло.

— Постой.

Поднял глаза к окошку, мягко светившемуся в сумерках. Долго, долго глядел и неожиданно для самого себя рассказал: там, на втором этаже, в тепло натопленной комнате лежит его больная дочь. Ей нельзя вставать до весны. Весной, когда пройдет лед, девочку отправят на черноморское побережье, в хороший санаторий. Там опытные врачи, вероятно, помогут ей. Но сейчас ей велено лежать. Всю долгую зиму лежать. Тяжело это в шестнадцать лет!

— И я, я один виноват во всем!

Леня слушал молча, не поднимая головы.

Когда девочка была маленькой, семье приходилось неимоверно трудно. В тот первый послевоенный год людям кое-чего не хватало. Иногда

самого насущного: хлеба, одежды, дров. А он, отец, увлекался полемикой (Леня не знал, что такое полемика). Больше спорил, чем работал, больше отвергал заказов, чем брал. Он наотрез отказывался работать там, где был Клейст. Клейст в те годы казался вездесущим.

— Понимаешь ли, я должен был принять бой. Не разговорами, не дискуссиями — творческим трудом доказать свою правоту. А я отходил, замыкался. И сколько бед принесло такое гордое мое поведение семье... К чему, Леня, к чему?

Леня сам не знал — к чему. Расстроенный непонятной исповедью, он отводил взгляд в сторону. Перед ним был водосточный желоб. Большая капля, удлиняясь, скатывалась из носика желоба в бочку. За нею, вытягиваясь, ниспадала другая. На перилах лежал ломтик лунного света. Тишина.

А художник все говорил, говорил.

— Я отходил от товарищей, частенько перегибал, бывал неправ. Но даже когда правда целиком была со мной... должны ли из-за этого страдать дети? Нет и нет! Один художник француз, понимаешь ли, замечательно сказал по такому вот поводу: «Рассуждай, как хочешь, но маленьким детям нужен суп». Про семью я будто забыл.

Константин Константинович судорожно глотнул, кадык его задвигался.

— Но я не мог иначе... Разве могут существовать две совести у человека? Одна для дела, другая для семьи? Совесть — одна. И нельзя грешить против нее безнаказанно. В самом дорогом тебя за это пристукнет жизнь.

Как обернулось странно: самый добный, справедливый, умный человек на свете казнил себя такими вот словами! Леня не мог такое стерпеть: весь встрепенулся, хотел перебить, сказать Константину Константиновичу что-нибудь доброе, хорошее.

Например: — Вы открыли мне целый мир...

Или: — Вы научили меня не только смотреть, но и видеть...

Но он был слишком мал для таких слов. Вместо того он отчаянно шмыгнул носом и заморгал ресницами.

Лицо художника не выглядело расстроенным. В лунном свете оно окаменело. Нерушимое спокойствие сковывало черты. Губы бледнели, но не кривились. Глаза не мигали. Тем не менее Леня понял — где-то глубоко этот пожилой человек затаил нестерпимую боль.

И мальчику захотелось сказать о себе тоже горькую правду. Чтоб ясно стало: он, Ленька, тоже не больно-то хорош!

— Кстин Кстинич, это я тогда украл ключ.

Художник, словно во сне, глянул невидящим взором. Какой ключ? Ах, ключ... Тот, старый, от железного кренделя. Да кому он нужен? Чудак парень! Кто о нем, кроме тебя, помнит?

Но внутренним чутьем, которое всегда работало в художнике безотказно, он понял и оценил порыв Леньки. И слегка погладил рыжеватый бобрик прижавшейся к его руке головы.

— Главное, помни мастерскую. Дружи с живописью, она освещает и согревает жизнь. Кем бы ты в жизни ни стал — кисть не бросай!

7

Прошли годы, умер художник, а Леня — живя на юге — даже не узнал об этом. Не дошла до него печальная весть, и старый друг остался для него навеки живым: бунтующим, спорящим.

Единственное письмо, которое мальчик послал из Грузии Константину Константиновичу, вернулось обратно изрядно помятным, ~~ненасчитанным~~ и с пометкой:

— «Адресат выбыл».

Выбыл? Значит, уехал. Иной возможности молодость не допускает...

Когда достроили гидростанцию, семья Лени перебралась в огромный, шумный красивый город. Помня советы художника, Леонид поступил учиться на архитектурный факультет. Живопись он не бросил и каждое лето уезжал в горы — писать этюды.

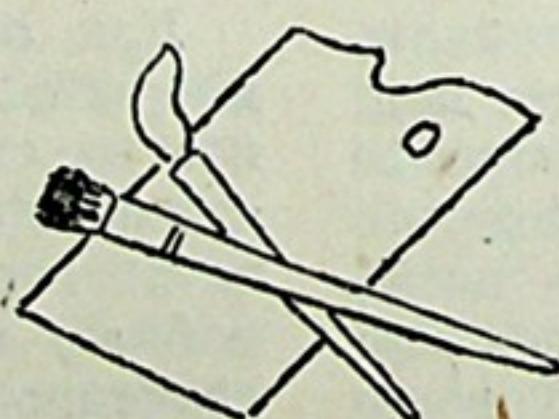
Случается и поныне архитектору Леониду Мешкову, после горячей дискуссии в академии или клубе, вернувшись домой, выйти на балкон-лоджию и вспомнить юные годы, городок на Оке, чердак, беседу с художником...

Каким маленьким это все кажется отсюда, где кипит большая жизнь! Эх, Константин Константинович, куда же это вы «выбыли». Вот бы посмотрели новые города Грузии. Рустави, например... Порадовалось бы ваше сердце! Интересно, понравились бы вам мои фрески?

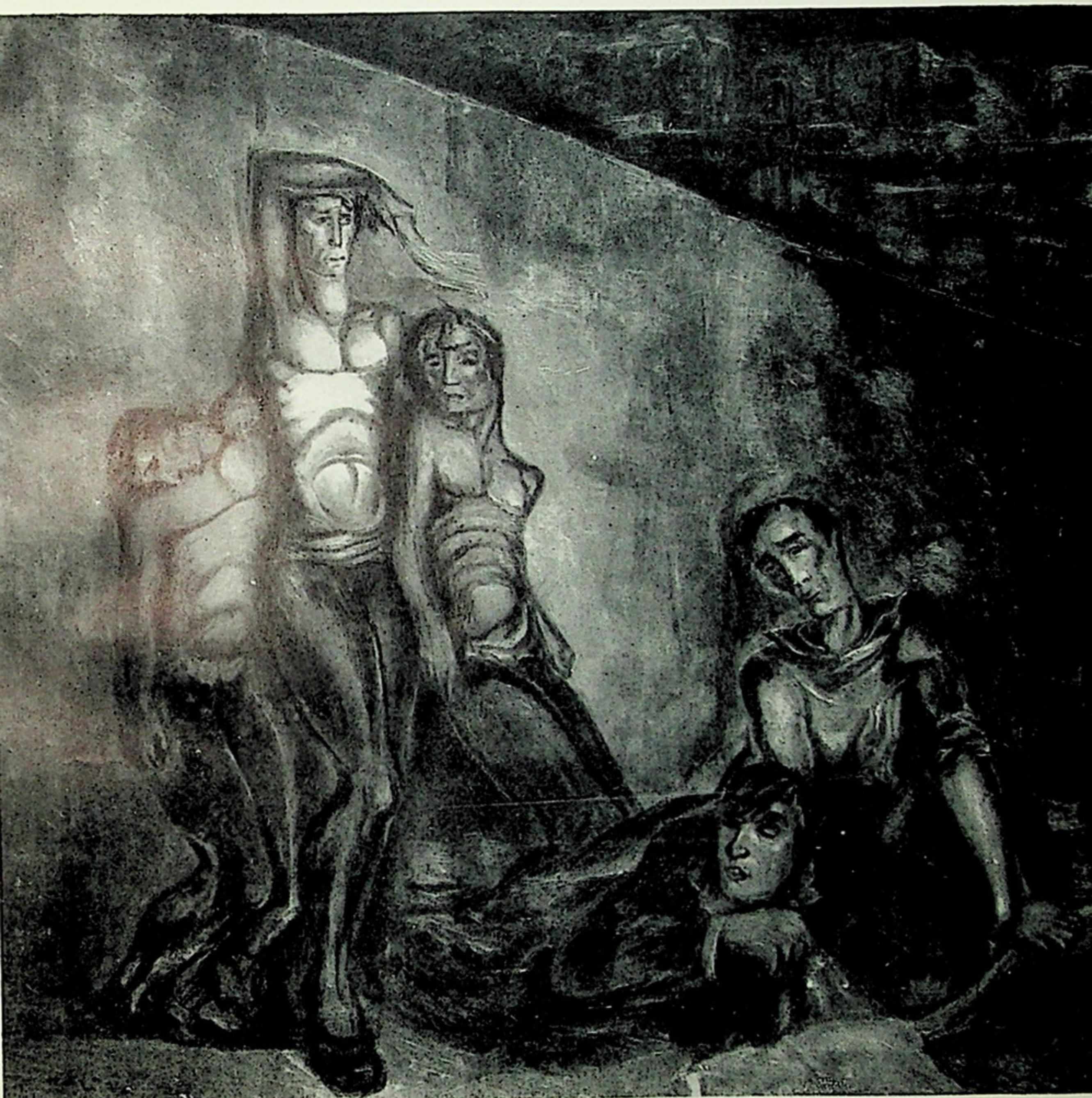
И он мысленно беседует со старым учителем, все еще ощущая его близким и живым.

Что же из того? Так бывает почти с каждым.

Друзья нашей юности бессмертны, и тот, кто любил, знает это.



К 90-летию Парижской Коммуны



Народный художник Грузии
ЛАДО ГУДИАШВИЛИ.

РАССТРЕЛ КОММУНАРОВ.
(Публикуется впервые).

Новые стихи

Ариил Сулакаури

ТАК НОЧЬ НАСТАЕТ В АЛАЗАНСКОЙ ДОЛИНЕ...

Так ночь настает в Алазанской долине,
Так тихо луна над долиной восходит,
Что боли, болевшие в сердце доныне,
Стихают, и тают, и вовсе проходят.

Тебя догоняет ласкающий ветер,
И горы — огромные взрослые горы —
Едва позовешь — словно малые дети,
К тебе побегут сквозь ночные просторы.

Уходят с долины туманы ночные,
И лишь Алазани под дымкой трепещет,
И кажется, легкие волны речные
Не в желтых обрывах —
В груди твоей плещут...

И песня сама из груди вылетает —
Так ночь настает в Алазанской долине,
Что сразу все боли стихают и тают, —
Все боли, болевшие в сердце доныне.

Все сны озарятся — неясные прежде,
Все сны, что сбывались и что не сбывались,
И в явь воплотятся мечты и надежды,
Мечты, что когда-то не оправдались...

И радость наполнит своей чистотою
Неспящие листья уставших растений.
Посмотришь —
Как будто вино разлитое,
По лунной земле расползаются тени.

Так ночь настает в Алазанской долине...
Что мнится порою — она не настанет!..
Все сны озарятся, что видел доныне,
Все сны озарятся,
Все боли растают...

И если тебя, в суете иль покое,
Настигнет вдруг где-нибудь ночи дыханье —
Ты слышишь?
Пускай она будет такою,
Как эта,
Наставшая на Алазани...



Перевод с грузинского Е. Николаевской

Силован Нариманадзе

ДУБ

О дуб мой, дуб!
Крепка твоя порода,
Строга твоя задумчивая стать...
Под сенью твоего резного свода
Я так любил о будущем мечтать!
И рокотал ты,
Споря с непогодой,
И я учился у тебя роптать...

О древний дуб!
Крепка твоя порода.
Ты в землю цепкими корнями врос,
Ты подпираешь купол небосвода,
Морщинист и упорен,
Как утес.
Над черной тучей,
Над крутой невзгодой
Курчавую главу ты ввысь вознес.

О стойкий дуб!
Крепка твоя порода.
Ты раскаленной молнией пронзен,
Исхлестан выюгою седобородой
И зноем огнеглазым обожжен.
Но ясен твой широколистый звон,
Но, верен солнцу,
В солнце ты влюблен
И каждым утром рад его приходу...
О гордый дуб!
Крепка твоя порода...

РЕКА

Я помню день ее рожденья,
Ее младенчество я помню —
Блестя лучом,
Играя тенью,
С утра спеша навстречу полдню,
Она бежала,
Воду пеня,

Скакала вниз через каменья,
Как шаловливая девчонка,
Захлебываясь в нетерпенье
И что-то распевая звонко.
И уши вдумчивых ущелий
Внимали ей в благоговенье —
Ущелья повторяли трели
Веселой песенки весенней,
Любуясь речкой-пустомелей...
Я видел,
Как она взросла,
Текла смиренней и степенней.
Склоняясь над пропастью несмело,
Она смолкала на мгновенье —
Как будто дрогнули колени...
Наверно,
Нелегко ей было
Покинуть снег вершины милой
И горных луговин цветенье.
Но землю засуха томила,
Но бредило дождем селенье...
И бросилась она с обрыва,
Как в бездну падают олени.
И, встретясь с жаждущею нивой,
Ей отдала нетерпеливо
И кровь свою,
И вдохновенье.

Перевод с грузинского Д. Голубкова

Серго Ломинадзе

* * *

Ветви марта простодушно голы,
Как вообще законы волшебства.
Я учу грузинские глаголы —
Древние гортанные слова.

Букварями занялся, невежда,
Человек не слишком молодой,
Потому что ждет меня надежда
У киоска с грушевой водой.

Дышится в Москве — судите сами:
Снежной струйкой отлетев от плеч,
Легким облаком плавает за нами
Эта удивительная речь.

Скажешь слово — перехватит горло,
Ветви марта вспыхнут, как в огне.
И тогда грузинские глаголы
Тихо возвращаются ко мне.

Георгий Дзугаев

ПИСЬМО

Перевод с осетинского Т. Доброй

«...Нет, нет, дорогая Анюта, ты не подумай, что я его полюбила. Но этот Азамат оказался совсем не таким парнем, как я думала, совсем не таким! Я-то его побаивалась, старалась держаться подальше. Только завидит, бывало, меня, глаза у него загораются, на губах появляется улыбка. Смотришь на него — и не понимаешь, чего это он улыбается. Да и язык у этого насмешника, как бритва. А я словно немею, как услышу его голос. И хочется уйти и... не хочется, злюсь я на него, но сказать ничего не могу, будто околована.

Порою думала — надо переезжать из этого селения куда-нибудь подальше, не то недолго до беды. От таких озорников всего ждать можно: в одну темную ночь схватит меня, завернет в свою огромную черную бурку, забросит на коня и поминай как звали, ищи ветра в поле!

Но того, что случилось позавчера, милая моя, — я никогда не ждала».

Ира подняла голову, посмотрела на исписанный наполовину листок бумаги в ярко освещенном кругу под грибком настольной лампы, усмехнулась. Потом встала из-за стола, потянулась, прошлась по комнате. Взгляд девушки упал на овальное зеркало над столом. Коротко остриженные волосы сверкали золотом. Голубые глаза смотрели любопытно и удивленно, словно спрашивали: «Что же все-таки произошло в твоей жизни, Ира?» Девушка тряхнула го-

ловой, и веселые искорки блеснули в густой непокорной копне волос. По губам пробежала усмешка — на мгновение сверкнул ровный ряд белоснежных зубов. «Боже мой, уже светает», — тихо прошептала Ира и распахнула окно навстречу утренней свежести.

В тот день, уже под вечер, Ирине сообщили, что в последние дни на горных пастбищах захромало несколько овец. Чабаны опасались, что эта болезнь копыт могла оказаться заразной. Врачу надо было немедленно выехать на стойбище.

— Что ж, Ирина, держи первый экзамен, — озабоченно произнес председатель колхоза. — С утра выезжай.

Девушка, недавно приехавшая в горное осетинское село с дипломом ветеринарного врача в руках, знала, что добраться до пастбища можно только пешком или верхом на лошади. Коренной москвичке, ей ни разу не приходилось сидеть на лошади. Но, взглянув на хитрую усмешку Азамата, который стоял тут же, она упрямо подняла голову и сказала:

— Хорошо. Утром я поеду.

...Едва забрезжил рассвет, Ирина, готовая к поездке, стояла на балконе сельсовета. В руках у нее была сумка с медикаментами и учебником зоотехники. На плечах — пестрый шелковый платок, подаренный подругами перед отъездом из Москвы. «Вот бы они посмотрели сейчас на

меня», — думала девушка, глядя на вершины гор, освещенные первыми лучами солнца.

Неожиданно на стройном вороном коне у сельсовета появился Азамат. Соскочив на землю, он привязал коня к столбу, высвободил его морду от удила и ослабил подпругу. Вороной, облегченно фыркнув, встряхнул маленькой головой, косясь горячим, налитым кровью глазом.

Азамат сделал вид, что только сейчас заметил Ирину на крыльце, и, подняв руку крикнул:

— А-а, красавица Ира! А я-то думаю, чего это мой благородный скакун уставился на балкон? Ну, теперь уж от меня не уйти. Посажу я тебя на этого скакуна и умчу в горы: ветер не догонит! — Азамат лихо загнулся поля своей широкополой шерстяной шляпы и усмехнулся, дерзко глядя в лицо девушке.

Ира стояла неподвижно, словно остолбенев, и не могла вымолвить ни слова. Лучи раннего солнца золотом переливались в ее волосах. Легкий, утренний ветерок полоскал ее огненно-красную блузку. Девушка лихорадочно пыталась придумать, как избавиться ей от этого неожиданного попутчика.

Что же придумать? Вот он, Азамат, поднялся еще на три ступеньки. Глаза горят, как раскаленные уголья, смуглое лицо освещено загадочной улыбкой.

«Нет, нет, с ним нельзя ехать!» — решила Ира. Она достала из сумки записную книжку и, написав что-то, вырвала листок.

В воротах появился председатель колхоза.

— Ну, что вы медлите?! — обратился он к девушке и юноше. — Вам давно пора отправляться. Ведь тебе, Азамат, придется идти пешком.

— Почему пешком? — юноша удивленно поднял плечи. — Я не одну девушку похитил на своем коне. Возьму, заброшу ее на седло и — поминай как звали, — озорные искорки снова забегали в глазах Азамата.

Председатель колхоза собрался было резко ответить на эту шутку, но Ира торопливо перебила его:

— Я не могу еще ехать! Мне нужно получить кое-какие медикаменты в районе, — и она передала председателю записку, которую толь-

ко что написала. Тот прочитал ее и обратился к Азамату:

— Возьми вот это, садись на коня и гони в район! Да поскорее, а то дождь собирается — вон какие тучи над горой Бурхой. Ира подождет тебя здесь.

— Чего мне ждать? Пойду пешком. Больных овец надо срочно изолировать, не то... — Ира уже спускалась по ступенькам, закинув сумку за плечо.

«Чертова девчонка, ничего не боится — ни гор, ни непогоды. Даже среди горянок редко встретишь такую», — в душе Азамата чувство досады смешалось с восхищением. Он рывком вытащил из-за голенища плеть и побежал к коню. Мигом взлетел в седло и через минуту скрылся в пыли.

Быстро идет Ирина, спешит к стойбищу. Знает девушка — нелегко добраться засветло. Только бы пройти то место, где бревно через речку перекинуто вместо моста. А там уж совсем близко. «Надо успеть, надо успеть», — твердит девушка. Дорога круто пошла вверх, густые кроны деревьев нависли с обеих сторон. Идти становится все труднее. Будто какая-то сила налегла на сумку с медикаментами, и она вдруг начала оттягивать плечо. Внезапно потемнело, тяжелая черная тень пала на землю. Вначале Ирина не могла понять, что это. Потом подняла глаза к небу и вздрогнула от неожиданности. Тонкие брови озабоченно сошлись на переносице. Вершины гор скрылись за низко плавущими свинцовыми обрывками туч. В ущелье сердито и угрожающе дул ветер. «Ой, боже, дождь настигает! Хоть бы речку перейти», — заволновалась Ира и ускорила шаг. Она уже выбилась из сил, но упорно продолжала идти вперед.

Ирина достигла опушки леса, когда грянул гром. Словно великан в черной бурке в гневе потрясал огромной железной цепью. Девушка пустилась бегом, чтобы укрыться в лесу: С трудом добралась она до огромного дуба и спряталась под его раскидистой кроной. Дождь ожесточенно барабанил по листьям. В темноте бурлила река, грохотал падающий с гор щебень. Этот грохот ленил душу.

Сколько времени придется здесь

стоять? Скоро сумерки. А чабаны ждут... Ирина провела ладонью по мокрым волосам и пустилась бежать. Девушка бежала по грязи, не обращая внимания на огромные лужи.

Лес стал редеть. До опушки рукой подать, а за ней — речка с бревном, переброшенным с берега на берег. Но где же бревно? Осталось только перильце, протянувшееся через реку. Концы бревна то показывались, то исчезали в бушующих волнах.

Перепуганная девушка остановилась в недоумении, не зная, что ей делать. Река ощетинилась и, подобно цепной собаке, которая, оскалив зубы, бросается на чужого, билась у ног Ирины. Она в испуге отступила.

Вдруг ей показалось, что из бурлящего потока на нее ожидающеглядят знакомые глаза: требовательные — председателя колхоза, насмешливые — Азамата.

И девушка шагнула на скользкое, качающееся бревно. С отчаянной решимостью схватилась за перильца. Брызги заливали лицо. У Ирины закружилась голова, река и берега слились в одно мутное пятно и поплыли перед глазами. Но в это время крепкая рука подхватила ее...

На помощь девушке подоспел Азамат.

Он спрыгнул со взмыленного коня, сбросил бурку и, схватившись рукой за перильце, вмиг очутился подле Иры. Подхватил ее сильными руками и осторожно понес к берегу.

* * *

Вечерело. Ирина медленно приходила в себя. С трудом приоткрыла глаза. Она лежала под большим деревом. Рядом ярко горел костер, потрескивали сухие сучья. Под головой — удобное седло, накрытое потником. На землю постлана бурка, одним концом заботливо окутывающая девушку.

«Кто же он, мой спаситель? — подумала Ира. — Азамат? На мосту, я смутно помню, что это был он, а потом... Неужели я одна тут, в темном страшном лесу?» — девушка забеспокоилась и приподнялась.

В это время показался Азамат с охапкой сухих сучьев. Нерешительно взглянув из-под шапки на Ирину, он сказал:

— Очень спешил, но все же немного запоздал — в аптеке задержался. — В голосе юноши звучали виноватые нотки.

Ирина усмехнулась: медикаменты ей вовсе не были нужны. Ведь она послала парня в район просто из страха. А он спешил, пришел ей на выручку в самую трудную минуту. И теперь смущенно молчит, глаз поднять не смеет. Она не узнает его: неужели это тот самый Азамат — балагур и насмешник, которого она так боялась.

— Как ты себя чувствуешь, Ирина? — спросил Азамат. — Тебе надо как следует отдохнуть.

Но Ирина отрицательно покачала головой:

— Теперь не до отдыха. Надо идти.

Дождь давно прекратился. Утих грохот речки и водопадов. На небе показались звезды.

Ира согрелась у костра под буркой, уютно сжалась в комочек. Ей не хочется вставать. Но она решительно откидывает бурку и поднимается...

* * *

Стреноженный конь смачно жевал свежую травку. Остановился возле костра, подышал на него. Азамат громко рассмеялся и стал застегивать свой бешмет:

— Даже мой конь — и тот за тебя, — хочет в путь.

В глазах Азамата опять загорелись те самые огоньки, которые так смущали Иру, на лице появилась озорная улыбка. Но Ира уже не боялась ее.

Конь оседлан. Азамат аккуратно привязал скатанную бурку к седлу и, держа в одной руке узду, другой поддерживая стремя, показал глазами на седло:

— Садись, поедем!

Ирина сняла свой плащ с ветки. Он был совсем сухой. Девушка лукаво улыбнулась:

— Скажите на милость, а плащ мой — сухой.

Юноша молчал, но глаза его тоже улыбались...

Все это вспомнилось Ирине, когда она писала письмо подруге в Москву.

Лиля Браиловская

Секретарь райкома

ОЧЕРК

До Тетри-Цкаро меня везла по-путная «Победа». Всю дорогу мой спутник не поднимал глаз от книги, сосредоточенно перелистывал страницу за страницей.

Попытки заговорить с ним не увенчались успехом. На все вопросы он отвечал односложно, с неохотой. Я больше не решалась отвлекать его. И только когда мы приближались к районному центру, он захлопнул книжку и сказал, будто продолжал прерванный разговор, наверное, отвечая на свои раздумья.

— Меня всегда очень трогают посвящения на книгах: матери, жены, сыну, друзьям... Писатель прошел работу, вложил в нее душу, мысли, мечты. И вот книга — такой ощущимый итог труда Ты даришь ее народу, ее прочтут сотни, тысячи людей, и эти сотни и тысячи узнают о самом дорогом и близком тебе человеке, которому ты посвящаешь книгу. Честно говоря, книжка, которую я сейчас читал, не очень взволновала меня... И все же я завидую сыну этого писателя, который через много лет, когда наше поколение останется только в истории и в воспоминаниях, подойдет к книжной полке, достанет книгу и даст прочесть своему сыну, другу, жене надпись на титульном листе — «Сыну моему посвящаю...» Я никогда не напишу книги и никогда не сделаю ничего такого,

на чем можно было бы сделать надпись: «посвящаю молодым, всем, кто идет за нами вслед».

Машина остановилась у здания Тетрицкаройского райкома партии. Мой спутник протянул руку:

— Будем знакомы, Бекаури Алексей Семенович. Скажите шоферу, куда вас подвезти.

А я даже не подозревала, что ехала вместе с секретарем Тетрицкаройского райкома партии, о котором мне уже не раз доводилось слышать.

Журналисты честно сознавались, что ездят по заданию газет в Тетрицкаройский район не очень охотно, несмотря на то, что район один из ведущих, с лучшими в республике показателями в колхозах, и, казалось бы, есть о чем рассказать.

В иной район приезжаешь, тебе секретарь райкома с гордостью расскажет об успехах, покажет все достижения. Цифры и факты посыплются, как из рога изобилия.

А Бекаури скончан на слова. От него только и добьешься: ничего особенного не сделали, наоборот, мало сделали, можем больше. Люди? Обыкновенные люди, как везде, умеют и любят хорошо поработать, честные... Вот и все, что он обычно говорит.

«Значит, мне здорово повезло, — решила я, — такой неразговорчи-

вый человек, а при мне произнес целый монолог».

И вдруг в памяти всплыл разговор, нечаянно подслушанный в ожидании автобуса на станции. Старый крестьянин, удобно устроившийся среди мешков и узлов, медленно растягивая слова, доказывал парню, видимо, ехавшему в район устраиваться на работу:

— Вот идешь по селу, смотришь — двор: забор вот-вот на землю ляжет, да лестница такая, что не всякий решится в дом по ней войти, того и гляди, рухнет у тебя под ногами; дрова разбросаны по двору, — шаг сделаешь — о полено споткнешься. Хозяин здесь равнодушный, нерачительный, неумелый. А вот рядышком хозяйство — любо смотреть: деревцо к деревцу подобрано, дом — будто вчера отстроили, и для всего свое место имеется. За всем уследит хороший хозяин, все вовремя в порядок приведет и новое, что необходимо, справит... Вот и район наш сейчас на такой двор похож, во всем крепкая хозяйственная рука чувствуется. — Он задумался и опять протянул: — Хороший хозяин наш Алекси!

— Заладил одно... хозяин, хозяин. — включился в разговор его собеседник. — Может, скажешь, у него волшебная палочка, у твоего Алекси. Сколько лет район отстал по всем статьям, а тут, как по щучьему велению, ведущим в республике стал. Э-э, брось, одному человеку не под силу такое. Три годовых плана мяса сдать за год, это тебе не игрушки.

— А ты, друг, не шути так. Может, и впрямь есть у него какая-то волшебная палочка. Здорово ему удается людям настроение поднимать и дело по сердцу находить. Поговоришь с ним минутку, и сразу такое на душе делается, хоть ночью в поле беги — и работай, работай, чтоб и самому и людям кругом жить лучше стало.

Сейчас у меня уже не оставалось

сомнений, что речь шла именно об Алексее Бекаури.

Что ж, возможно, этот *старик* разгадал секрет, над которым многие и по сей день задумываются: как удалось этому человеку так круто повернуть жизнь большого района.

* * *

Если говорить откровенно, Тамара Бекаури не очень обрадовалась новость, которую ей сообщил муж буквально за несколько дней до наступления нового, 1959 года. Она даже растерялась.

— Мне предложили поехать на работу в Тетри-Цкаро первым секретарем райкома партии, — сообщил ей Алекси так, будто речь шла об очередной командировке.

Меньше всего она сейчас ожидала таких резких жизненных перемен. Она надеялась, что переезды с места на место остались позади, что теперь они заживут спокойно, оседло, до старости лет в Тбилиси, в хорошей городской квартире.

У Алекси солидная, ответственная работа — он заместитель министра сельского хозяйства по кадрам. Старшая дочь — Цисана кончает музыкальную семилетку, собирается поступать в техникум. Тамара Давидовна так мечтала, чтобы дочь стала пианисткой! Средней — Мзийке придется расстаться с занятиями во Дворце пионеров, которыми она так увлекается. Дато и Майя — близнецы — изучают в специальной группе, созданной в школе, английский язык. Вряд ли они сумеют продолжить эти занятия в районе. Придется рас прощаться и с педагогическим техникумом, где она преподает основы марксизма-ленинизма.

А диссертация Алекси? Опыт, накопленный за все годы работы в районах, грешно прятать в карман, он может сослужить людям добрую службу. Теперь и этот труд будет отложен на самое неопределенное время.

И какой недолгой была у них эта спокойная жизнь — еще и трех лет не прошло с тех пор, как они покинули Душети, где Алексей Семенович был первым секретарем райкома партии. А до этого почти пять лет он возглавлял райком партии в Казбеги. Суровый горный край не баловал легкими победами. Скольких усилий стоило поставить на ноги запущенное в годы войны хозяйство района.

Такие трудные были годы, что только от воспоминаний начинает кружиться голова.

Работали не зная передышки. Она была директором средней школы, в которой больше сотни детей, и дома своих четверо — мал мала меньше. У Алекси дела ни днем, ни ночью не кончались. Но в обоих районах, когда они оттуда уезжали, работа была налажена, хозяйства были крепкими, районы хвалили на совещаниях и в газетах.

В Душети Алексея Семеновича выдвинули кандидатом в Верховный Совет Грузинской ССР. С тех пор он депутат Верховного Совета.

И Казбеги, и Душети оставляли с болью: сердцем приросли к месту, к людям, к делам, которые казались только начатыми, а сколько еще нужно сделать, чтобы их завершить!

И вот теперь опять...

— Ты еще не ответил, Алекси? — с надеждой спросила Тамара Давидовна.

— Я уже согласился, Тамара. Так нужно было. На меня сейчас надеются.

Она ничего не ответила. Первый раз в жизни он решил такой серьезный вопрос сам, без нее. Значит, не был уверен в том, что она примет это, согласится без раздумий. А так проще, обошлось без лишних обсуждений, просто поставил перед фактом. Где-то глубоко защемило сердце, стало немного обидно и стыдно за себя, ведь раньше ей никогда не приходили в голову такие мысли, она знала цену слову «нужно».

— Нам будет трудно, Алекси, — как бы оправдываясь, сказала она.

— А разве нам было легче пятнадцать, десять лет назад? ^{Было тепло} Кажется, мне придется рассказать тебе свою биографию, — шутливо заметил он. — Она, пожалуй, начинается, с того дня, когда я поступил в Высшую партийную школу в Москве. Там со мной учились одна славная девушка — боевая, энергичная и в то же время мягкая, душевная. 9 мая 1945 года, в день, когда вся страна праздновала великую победу, эта девушка стала моей женой.

— Можешь не продолжать, с того дня мне твоя биография хорошо знакома, — засмеялась она.

— Тамара! Хочешь я раскрою тебе один секрет: я рад, что снова еду в район. Мне, честно говоря, было душно в кабинете министерства, все время не хватало свежего воздуха.

* * *

Алексей Семенович недолго знакомился с людьми, с хозяйством, с колхозами. Картина была ясна. Здесь просто привыкли к спокойной жизни. Планы были явно занижены, да и те почти никогда не выполнялись. На бюро ЦК ругают, газеты ругают. Но и к этому привыкли. Привыкли и примирились, как будто иначе и быть не могло.

Но когда разговариваешь с людьми, оказывается, все не так просто, как кажется с первого взгляда. Большинство недовольно — надоело в хвосте плестись, не инвалиды же в конце концов, народ здесь крепкий, здоровый, земля плодородная, а для развития животноводства пойди поищи лучшие условия!

— Поговорим обо всем этом между собой и разойдемся. На том дело и станет, — рассказывали колхозники.

Как здесь нужен сильный сдвиг, хорошая встряска, чтобы кончился

этот нездоровий покой у людей, чтобы одолела их неуемная жажда труда, чтобы учащенно забился пульс жизни в районе.

В последних числах декабря 1958 года состоялся Пленум ЦК КПСС, на котором много говорили о том, что народу нужно сейчас значительно больше мяса и молока, чем несколько лет назад.

Так и пришел ответственный момент: нужно было умело организовать людей, поднять настроение, мобилизовать все возможности, чтобы стало здесь интереснее жить и работать.

Начал Бекаури советоваться с людьми. Один жалуется, сетует на свою долю или отмахивается — ничего, дескать, все равно не получится, другой что-то дальновидное посоветует. Немало накопилось таких добрых дальних советов у секретаря райкома.

Тут Бекаури вспомнил Казбегский район. Там тоже хозяйств было много, и были все мелкие, жалкие. Маленький коллектив в таком хозяйстве днем и ночью трудится, а результаты не видны. А когда укрупнили хозяйство, только за два года поголовье скота увеличили ровно втрое.

Здесь же, в Тетри-Цкаро, и условия лучше и возможностей больше, а колхозов для такого района действительно многовато — 55. Не мешало бы укрупнить хозяйства.

— Что ж, попробуем, может, и будет прок в этом! — сказали на собрании колхозники.

Так было принято решение об объединении колхозов, об организации в районе двадцати двух крупных многоотраслевых хозяйств, в которых и землю, и технику, и кадры можно лучше использовать.

Потом долго совещались в райкоме партии о том, какие взять обязательства. Изучали все возможности, подсчитывали, взвешивали все «за» и «против».

— Ну, что ж, — подвел итоги Алексей Семенович. — За семилет-

ку дадим стране по сравнению с 1958 годом в 14 раз больше мяса, в 9 раз больше молока. А в ^{наиболее} _{в дальнейшем} году надо постараться увеличить производство мяса не меньше, чем вдвое.

— Да ты что, секретарь, смеешься над нами, что ли?! — возмутился один председатель колхоза.

— Хватили, конечно, маленько, товарищ Бекаури. Силенки на это откуда взять? — раздался другой голос.

Тут поднялся шум! Кто откровенно смеялся, кто возмущался недальновидностью нового секретаря райкома.

— Видели мы таких, которые любят себя показать, да пыль в глаза пустить, а потом чуть-что — первый в кусты, — гудел в углу чей-то бас.

— А зачем это нужно? Взяли бы обычные обязательства, ну чуточку прибавили и были бы спокойны, что выполним. А тут дыхание перевести никогда будет, задохнемся от работы, а еще неизвестно, будет ли толк?

Алексей Семенович терпеливо ждал, пока все высказывались, прислушивался. Но когда услышал последнюю реплику, не выдержал.

— Так вот вы чего, оказывается, испугались? Себя утруждать не хотите, боитесь от работы задохнуться. Зачем ответственность на себя брать, когда можно мелкую спокойную водичку без риска вброд перейти. Нет, товарищи, не будет этого. Утонете вы в мелководье, обязательно утонете, потому что вам это будет казаться легким делом. А в бурную воду вы войдете собранными, сильными и еще для опоры крепкий надежный сук в руки возьмете, и никакие волны и водовороты не будут вам страшны, потому что вы будете готовы к борьбе с ними. Вот и сейчас необходимо быть собранными, сильными, потому что жизнь начинается неспокойная, бурная, трудная.

Так в Тетри-Цкаро была объявлена мобилизация всех человеческих сил, воли, духа.

А такое состояние удержать не легко. Нужна большая, глубокая заинтересованность каждого человека в своем труде, тогда человек все время на подъеме, все время работает с полной отдачей сил.

Алексей Семенович Бекаури знал, что для этого нужно.

Далёко, за Гудамакарское ущелье, в горы Северного Кавказа, гнали чабаны на пастбище овец из Пасанаури и окрестных сел. Уходили с отарами Шио и Павле Бекаури из села Гамси — старшие братья Алексея Семеновича. А с шести лет и маленький Алекси с хворостиной в руках чинно шествовал с чабанами, не пропуская ни одной зимовки.

Мальчик прижился у чабанов; они возились с ним, как с сыном, воспитывали по-своему (отец Алекси умер рано, мать осталась одна с шестью ребятами).

Чабаны народ особенный, у них свои законы в жизни. Сильные, закаленные, физически здоровые, они не терпят дурных нравов. Нет в них ни хитрости, ни лукавства. Это люди до конца честные, прямые, верные слову, дружбе, традициям.

Главный среди чабанов был Шио Циклаури. Чабаны относились к нему с большим уважением, внимательно прислушивались к его советам. Алекси не помнит случая, чтобы кто-нибудь возразил ему, не согласился с ним. В 30-е годы Циклаури был награжден орденом, о нем писали в газетах

— Почему ты главный, дядя Шио, и уважают тебя так, будто ты больше других все понимаешь? — както спросил старика маленький Алекси.

— Секрет я один знаю, сынок, — ответил чабан.

— А что это за секрет?

— Ладно уж, тебе одному поведаю... Только смотри мне, — лукаво улыбаясь, погрозил дядя Шио пальцем, а потом поднес его к губам: никому, мол, не говори!

— Понимаешь, у каждого человека должно быть свое место в жизни. И когда он найдет это свое место, у него будто крылья вырастают, силы прибавляются. Тогда человек обязательно задумает большое дело и непременно сделает его, потому что его желание выполнить задуманное сильнее всего на свете. Тогда все ему по плечу. Только место свое человек не всегда легко находит. Бывает, мается, мается он, и все, за что ни возьмется, из рук валится. Вот и нужно такому человеку помочь... А если каждый на своем месте будет, большие дела завернуть можно, и уважения людей тебе на весь век хватит.

Много лет прошло после этого разговора, а Алексей Семенович всегда помнит слова старого Шио Циклаури.

— С тех пор моя главная заповедь в жизни — помочь человеку найти свое место, — говорит Бекаури.

Так он и поступал еще в студенческие годы, когда был избран секретарем комсомольского бюро филологического факультета, когда работал секретарем комитета комсомола Тбилисского педагогического института имени Пушкина, когда заведовал отелем крестьянской молодежи в ЦК комсомола Грузии. Благодаря такому подходу, он многое смог сделать в трудных условиях Казбегского района, во время работы в Душети.

С подбора кадров пришлось начать в Тетрицкаройском районе.

Знаете, что значит для колхоза опытный и энергичный председатель? Это залог успеха.

Разговор об этом начали сами колхозники.

— Сколько хороших организаторов сидит в кабинетах райиспол-

кома, райкома. Дайте нам хоть одного из них — да вот хоть Шалву Бекаури. Он нам в колхозе сейчас нужнее, — говорили из колхоза имени Джорджиашвили, и заместитель председателя райисполкома, член бюро райкома партии охотно возглавил этот колхоз.

Председателями колхозов стали управляющий районной конторой Госбанка М. Хачатуров, заведующий бактериологической лабораторией Н. Надирадзе.

Есть в Тетрицкаройском районе село Борбalo. Борбалинцы прославились своей неуживчивостью с председателями, которые здесь беспрерывно сменялись.

— Безнадежный колхоз, — говорили они, оставляя свой пост, — с таким народом далеко не уедешь. Нет смысла зря силы класть.

Не поверил этому Бекаури. Стал присматриваться к людям, кто бы мог прийтись по душе борбалинцам. Решение пришло неожиданно. Вспомнил Валико Элизбарашвили, заместителя начальника сельскохозяйственной инспекции, молодого специалиста, зоотехника по профессии. Вот кто найдет общий язык с этим «трудным» народом. Алексей Семенович давно заметил, что этому человеку нужно больше простора в жизни, он на своей работе — будто в тесном костюме, неудобно себя чувствует.

Кто-то усмехнулся. Куда его, такого робкого, к борбалинцам?

Но «робкий» вдруг взял, да и удивил всех, в самое короткое время вывел колхоз на одно из первых мест в районе.

Вот уж в чем никак нельзя отказать Алексею Семеновичу — умеет он разбираться в людях, оценить каждого по достоинству и найти ему подходящее дело.

* * *

Дела и события в районе разворачивались стремительно, опережая друг друга.

При райкоме партии создали спе-

циальную комиссию по сельскому хозяйству, под строгим надзором которой были все артели района. Она помогала выявлять все резервы и возможности для выполнения обязательств, распространять передовой опыт.

Увеличить вдвое производство мяса за год — дело не шуточное. Нужно срочно создавать базу, увеличивать поголовье и живой вес скота, предназначенного для убоя. Алексей Семенович выезжает на пастбища, ночует с пастухами, ведет долгие беседы у костра.

— Да разве у нас по правилам скот нагуливается, — говорили пастухи, — разве откормишь животное, если оно пасется вместе с рабочим скотом, вместе с молочным стадом? Ведь ему особое внимание и уход нужны, особое питание. Попробуйте, отделите нагульный скот от общего стада, отправьте на альпийские пастбища Бедени и соблюдайте элементарные правила ухода за ними: разделите на группы по возрасту, полу, упитанности. Посмотрите, какой они в первые же сутки привес дадут.

— Так ведь у каждого колхоза есть на этих пастбищах свой участок, почему же там не нагуливаете скот, если это так просто?

— В том-то и беда, секретарь, что не просто. Смысла в этом никакого нет. Ну из Ивановки туда еще пойдет стадо, из Алексеевки, куда нишло, — им близко. А остальные колхозы? Сколько в каждом колхозе нагуливается сейчас скота? Ну, пятьдесят голов, шестьдесят самое большее. Да разве такое стадо стоит гнать за десятки километров? Двух пастухов нужно — меньше не пошлешь. Деньги им пару месяцев платить надо? Надо. Вот уже минимум требований, а сколько еще кроме этого нужно? Так нагул каждого животного обойдется колхозу рублей 60, наверное... Никакой привес не оправдает эту сумму. Поэтому и довольствуемся 300—400 граммами суточного привеса, больше в таких условиях не выжмешь. А огромные

массивы альпийских лугов пропадают зря.

— Было бы стадо побольше, стоило бы гнать в Бедени, а это... разве только, чтоб люди посмеялись.

— Ну что ж, — решил Бекаури, — будем создавать одно большое стадо. Соберем из всех колхозов нагульный скот и будем откармливать его на альпийских лугах. Разобьем на гурты, отведем каждому отдельный гурт...

— С таким стадом нужно человек шестьдесят посыпать, на такой отряд не напасешься, — пошутил кто-то.

— А пятнадцать человек разве не справляются? — спросил Бекаури.

— Справиться-то справляется, только ведь каждому хочется за своей скотиной присмотреть, а то всех перепутают, потом не разберешься.

— Да это же проще простого, — откликнулся кто-то из пастухов, — проставить роговые номера, сделать тавро на ушах... А почему ж не доверить своих животных, им никто ничего плохого не сделает.

Так родилось решение организовать впервые в республике межколхозный нагул крупного рогатого скота.

Тысячу голов отправили на летние альпийские пастбища. На каждого животного завели «медкарточку», в которой учтены его состояние здоровья, пол, возраст, упитанность. Разделили по группам, каждый день следят за прибавкой в весе. Разве такие условия создаешь в отдельном колхозе?

А чтобы лучше использовать пастбище, чтобы скотина паслась на небольшой площади и поедала всю траву, а не вытаптывала ее, здесь установили «электропастухи». Небольшой участок в три гектара обнесли проволокой, через которую пропустили слабый электрический ток. Ткнется животное мордой в эту проволоку и больше близко не подойдет: условный рефлекс — дело проверенное! Пока не съедят животные всю траву на участке, очер-

ченном «электропастухом», не выйдут они за его пределы. И тринадцати пастухам за таким огромным стадом уследить совсем несложно, «электропастух» — хороший помощник.

Результаты сказались сразу же: суточный привес скота достиг 1.100—1.300 граммов, а у отдельных животных — 1.500 граммов. И еще — содержание каждой головы за весь период обходится теперь лишь 11 рублей.

А в районе крепла вера в успех, цифры плана становились реальными, ощутимыми.

Назревали и другие дела... Создали межколхозный производственный совет, которому поручалась организация всех межколхозных начинаний, межколхозного строительства. И совет без долгих раздумий приступил к выполнению своих обязанностей.

Птицу разводить в условиях горных районов гораздо сложнее, чем внизу, на равнине. Строить птицеферму колхозу, у которого птичье стадо — раз, два и обчелся, и бесмысленно, и просто не по средствам.

Если же все колхозы вместе на паевых началах отстроят несколько хороших птицеферм и заведут большое птичье стадо, вот и создается огромный резерв для увеличения производства мяса.

За решениями тотчас же следовали дела.

Отстроили два огромных помещения, в которых много света, много свежего воздуха. Птице здесь привольно, удобно, прямо как в санатории. И уход за ней превосходный, на ферму пришла молодежь, знающая и любящая дело. Это новшество тоже привилось, оправдало себя.

Работать в районе стало куда интересней. Каждый колхозник на виду, за выполнением обязательств строго следят, все стали помогать друг другу. Отличился кто-нибудь — сразу показатели на колхозном стенде появятся, портрет вывесят, а то и в районной газете отметят; и

еще, непременно, денежной премией наградят. Взять хотя бы только доярок — они за каждый надоенный сверх обязательства килограмм молока получают 10 копеек. Хорошая, старательная доярка может быть уверена, что за месяц справит себе отличное новое платье. А ведь повышение материальной заинтересованности колхозников — немаловажный фактор!

В страдные августовские дни республиканская газета «Заря Востока» опубликовала обращение тетрицкаройцев ко всем труженикам животноводческих ферм, колхозов и совхозов Грузии с призывом дать Родине больше продуктов животноводства.

Это был вызов, смелый, гордый, уверенный! Один из отстававших недавно районов республики приглашал всю Грузию померяться с ним силами.

Можно еще многое рассказать о борьбе и тех трудных путях, которые вели к победе. Итогом первого года семилетки были досрочно выполненные обязательства. Бекаури не стыдно было ехать в Москву в декабре 1959 года для участия в Пленуме ЦК партии по вопросам сельского хозяйства. На пленуме оценили его заслуги. В эти дни он был награжден медалью «За трудовую доблесть».

Новый 1960 год принес новые победы. Перевыполнение плана, снижение себестоимости сельскохозяйственных продуктов значительно увеличили доходы колхозов. 19 артелей было переведено на денежную оплату труда. Колхозникам стало гораздо легче жить.

А тут в стране — один замечательный почин за другим. Последователи Н. Мануковского и А. Гиталова только в селе Кода по методу прославленных передовиков обработали 800 гектаров посевов кукурузы, и это дало колхозу более 200 тысяч рублей экономии. Отличились в районе и свинари В. Далакишвили, А. Лондаридзе, И. Марантиди. А какую славу району принесли успе-

хи доярок Т. Мигриаули, Т. Циклацири, птичниц В. Ефременкю и К. Лазариши, овцевода З. Апциаури.

Нелегко перечислить ^{16.01.1960} героев, когда воюет вся армия. Это — тысячи и тысячи бойцов.

В 1960 году в районе произошло еще одно знаменательное событие. Маленькому горному колхозу села Алгети было присвоено звание колхоза коммунистического труда. И очень скоро этот первый в Грузии колхоз коммунистического труда заставил о себе заговорить: до конца года было еще далеко, а здесь выполнили два годовых плана по продаже государству молока и более чем втрое перевыполнили годовое задание по продаже мяса.

На исходе второго года семилетки были взяты новые рубежи — выполнено три годовых плана продажи мяса государству. Тбилисцы и руставцы, которым Тетрицкаройский район поставляет мясо, почувствовали это — они получили только от тружеников этого района на две тысячи тонн больше свежего мяса, чем два года назад. Кроме того, государству в истекшем году было продано семь тысяч тонн молока, — а эта цифра тоже кое о чем говорит.

Но если вы спросите Алексея Семеновича о главном достижении этих лет, он не станет с вами говорить о высоких показателях, о надоях молока, о скоте. Он расскажет о тетрицкаройцах, об их хорошем настроении, которое приходит после напряженного труда и здоровой усталости, о ясной цели и вере в ее достижение, о нелегких, насыщенных делами буднях и праздниках, которых стало теперь значительно больше.

* * *

Телефонные звонки стали раздаваться с самого раннего утра. Первыми Бекаури поздравили друзья из Тбилиси — они раньше получают газеты.

А за газетами сейчас все следят особенно внимательно: уже несколь-

ко дней в Кремле работает Пленум Центрального Комитета КПСС. Вся страна рапортует о выполнении планов, обсуждает самые животрепещущие вопросы сельского хозяйства. В такие дни у газеты нет равнодушных читателей, тем более, когда речь идет о делах близких и понятных — о делах твоей республики, об известных тебе людях.

Секретарь Центрального комитета КП Грузии В. П. Мжаванадзе, докладывая Пленуму об успехах в республике, рассказал и о делах тетрицкаройцев, упомянув секретаря райкома, его заслугу в их достижениях. Вот почему каждый житель этого района в день, когда в печати был опубликован доклад В. П. Мжаванадзе, чувствовал себя вправе принимать поздравления.

Спустя совсем немного времени после того, как закончил свою работу Пленум ЦК КПСС, произошло новое большое событие — в столице нашей республики Тбилиси состоялось совещание передовиков сельского хозяйства трех братских республик — Грузии, Армении и Азербайджана, в работе которого принял участие Никита Сергеевич Хрущев.

С трибуны этого совещания Бекаури рассказал о новых больших планах тетрицкаройцев.

«Труженики района поручили мне заверить Вас, дорогой Никита Сергеевич, что в этом году мы выполним два годовых плана продажи

государству мяса и яиц и продадим на 10 тысяч центнеров молока больше, чем предусмотрено государственным планом», — сказал Алексей Семенович.

Никита Сергеевич внимательно слушал его выступление. Он о многом еще расспросил секретаря райкома, и чувствовалось, остался доволен делами тетрицкаройцев.

Домой с совещания Бекаури ехал взволнованный, радостный. Скорей бы подхватить на руки ребят, крепко обнять жену, подробно-подробно рассказать им обо всем. Потом пойти всей семьей гулять, накупить детям сладостей, подарков...

Он уже видел укоризненный взгляд Тамары и слышал ее обычное замечание:

— Балуешь ты детей, Алекси. Постарайся быть с ними построже.

И он знал, что ответит ей, как всегда отвечал в таких случаях.

— Не сердись на меня, Тамара. Я так загружен и так редко их вижу, что, наверное, просто не имею права быть строгим. Это я предostавляю тебе. Ты ведь лучше меня знаешь, что спрашивать с них я всегда буду по самому большому счету. Ведь когда мною прожит день, я всегда задумываюсь над тем, чему у меня сегодня могли научиться мои дети...

А каждый прожитый этим человечком день чего-то стоит. Все, что им сделано, Алексей Семенович может смело посвятить людям, молодости, будущему...



Ираклий Абашидзе

Америка с первого взгляда

В наш удивительный век катего-
рии времени и пространства поте-
ряли свое недавнее могущество над
человеческим воображением — те-
перь они приравнены, в сущности, к
тем явлениям, которые подчинились
человеку, служат ему.

Благодаря реактивным двигате-
лям, вы сегодня же сможете приле-
теть в завтрашний день, а если ва-
ми овладеет противоположное же-
лание — сможете в каком-нибудь
ином отдаленном от вас уголке Зем-
ли догнать день вчерашний.

Именно так и случилось, когда
мы заканчивали свой воздушный
путь из Москвы в далекие Соеди-
ненные Штаты, — путь во вчераш-
ний день.

Фразу, которую вы, читатель,
только что прочитали, можно понять
и в иносказательном смысле (капи-
тализм — это вчерашний день че-
ловечества). Ну, что же, я отнюдь
не буду и против такого ее понима-
ния, хотя первоначально имел в виду
всего лишь быстроту воздушных
сообщений нашего времени.

Трудно себе представить, какие
скорости в жизни будут завтра.

Ясно только, что огромные.
И еще другое ясно: нас с вами не
догонят уже никогда... ни вчераш-
ний, ни позавчерашний день.

* * *

Путевые записи почти каждого
сегодняшнего путешественника на-
чинаются, примерно, так: «В одно
прекрасное летнее утро (скажем,

августовское) от накаленных солн-
цем плит аэродрома (скажем, Вну-
ковского) оторвалась гигантская ре-
активная птица — и (особенно если
эта птица конструкции Туполева) в
то же мгновение скрылась из глаз.
Конечно, из глаз провожающих:
упаси боже, если из глаз опоздав-
ших пассажиров!

Интригующее начало, правда?
И к тому же безопасное, проверен-
ное тысячу раз...

Дорогой читатель, вы не успели
еще проводить глазами эту реактив-
ную птицу, а я уже обращаюсь к
вам с убедительной просьбой: не забу-
дьте, что эти мои записки —
«Америка с первого взгляда». Очер-
ки — не совсем мой «жанр», к то-
му же многое, что я увидел, было
отмечено до меня, да и вообще две-
три недели, проведенные в Соеди-
ненных Штатах — не такой срок,
чтобы собрать материал для серьез-
ного исследования о жизни людей
этой огромной страны.

И все же я решаюсь предложить
читателю эти скромные записки —
результат пусть немногих, но для
меня острых и незабываемых впе-
чатлений. Во избежание недоразу-
мений заранее перечислю главные
свои темы: небоскребы Нью-Йорка,
голые необработанные прерии, со-
ветская выставка, путешествие по
реке Гудзон, прогулки по Бродвею,
негритянский Гарлем — величай-
шее в мире гетто, 1.200 километров
автомобилем в глубь страны, певец
Гарри Беллафонте и... кажется, все.
Причем — языком обычного бес-
хитростного газетного репортажа.

* * *

После многочасового полета над океаном бельгийская четырехмоторная «Сабена» доставила нас на американский континент.

Мы прилетели в Нью-Йорк в 23 часа 20 минут местного времени. Несколько стенных часов аэропорта показывали время других стран. Московское я узнал по своим наручным часам — 7 часов 30 минут утра, значит в Тбилиси сейчас половина девятого. Надо было делать утреннюю зарядку, но от долгого полета и бессонницы, вызванной этими скачками времени, вид у нас был такой усталый и бледный, что пришедшие на аэродром корреспонденты могли бы смело предложить своим шефам, тем из них, кто настроен антисоветски, фотоснимки «грустных» и «хмурых» советских людей. Но — им помешал забавный случай.

У одного из наших спутников, известного московского театрального режиссера, перед выходом из самолета в кармане пиджака не оказалось ни одного документа. Он упорно уверял, что положил документы именно в этот карман, но их — не было. Невеселое положение. Для гостей без виз США подготовили в океане «остров слез». Наш товарищ знал о нем по мировой художественной литературе... Что же делать? И вот, когда казалось, что уже нет выхода, обнаружилось, что этот несчастный кандидат на остров в спешке надел пиджак своего коллеги — цвет пиджаков был одинаковый, а свои документы коллега хранил в заднем кармане брюк. Так они и пролетели спокойно над Атлантикой, каждый — в чужом костюме.

Дипломатических неприятностей мы, таким образом, счастливо избежали, и на территорию Америки вступили, весело смеясь. Кстати, этот инцидент помог мне окончательно убедиться в мудрости наших литератороведов, утверждающих, что случайность иногда отнюдь не противоречит типичности. Наша делегация состояла из работников культуры; люди эти — веселые, жизнерадостные; сотни всевозможных шуток, анекдотов, ос-

тот — «предметы первой необходимости» в дальних путешествиях — сопровождали нас. И если мы вышли из самолета с устало-кислыми физиономиями, то это было явлением поистине нетипичным.

«Интернациональный аэродром» Нью-Йорка... Нам не пришлось много возиться с багажом: здание было пусто, в этот полночный час все таможенные процедуры закончились сравнительно быстро. Чиновники тоже люди, им тоже иногда хочется спать.

И вот мы на площади, переполненной автомашинами.

Нью-Йорк... Небоскребы...

Впрочем, мы их не видели. С моря на Нью-Йорк шел туман. Обычно говорят — «густой туман»; в Нью-Йорке лучше сказать — высокий туман. Какой же высокий туман должен был окутать город, чтобы даже стодвухэтажный, воткнутый в небеса шпиль «Эмпайр Стейт Билдинга» исчез в нем! А вы помните, как писали об этом высоченном гиганте в своей «Одноэтажной Америке» Ильф и Петров?

«Луна виднелась в промежутке между двумя шестидесятиэтажными домами. Но любопытный, прильнувший к трубе, смотрел не на луну, а гораздо выше, — он смотрел на вершину «Эмпайр Стейт Билдинга», здания в сто два этажа. В свете луны стальная вершина «Эмпайра» казалась покрытой снегом. Душа холода при виде благородного чистого здания, сверкающего, как брус искусственного льда. Мы долго стояли здесь, молча задрав головы»:

Давно побывали в Америке Ильф и Петров, и немало небоскребов воздвигнуто после них в Нью-Йорке! Но нет! Выше «Эмпайра» ни один из них не поднялся. Видно, у всего на свете есть какой-то предел. У американских архитекторов были проекты еще более высоких зданий, вплоть до пятисотэтажных. Эти проекты можно объяснить, наверное, только страхом человека перед автомобильным транспортом: тесно и неуютно пешеходу на американских улицах, вот он и бежит в лифт: давай, давай повыше!

Но... Что за невежливые гости, едва приехали в Нью-Йорк, а уже

рассуждают о его коммунальных проблемах!

Ну что ж, не будем. Поспешим в город.

К нашим услугам — комфортабельный автобус фирмы «Америкэн экспресс».

О том, что Нью-Йорк — самый большой по своему населению город на земле, знают все. Как считали жителей Нью-Йорка, я точно не знаю. Можно было бы пойти, например, по такому пути. Недавно журнал «В защиту мира» сообщил читателям, что «на средства, которые затрачиваются для производства одного американского бомбардировщика, можно в течение двух дней накормить хлебом все нью-йоркское население». Стало быть: берем число американских бомбардировщиков... Ах, да, это, наверное, военная тайна...

Эх, поскорее бы наступило то время, когда не надо будет человечеству ломать голову над такими загадками. Советское правительство это и предлагает. К сожалению, американское хочет другого: подсчитать чужие вооружения и по-прежнему производить бомбардировщики, экономя на хлебе для населения.

Но опять-таки не будем обсуждать здесь «коммунальные проблемы» США.

В свое время книга Ильфа и Петрова пользовалась немалой популярностью. Эта популярность отчасти объяснялась условиями нашей жизни во времена, когда «трактор для нас был явлением огромной важности, еще одна молотильная машина — важнейшим приобретением, новая электростанция — чем-то сверхвеличайшим».

А сейчас?

И теперь в США быстрые темпы. Огромные краны аккуратно и быстро ставят этаж на этаж. Лифты молниеносно носятся вверх-вниз.

Но разве вы удивитесь этому сейчас? Быстроходному лифту? Мощным строительным кранам? Как этому может удивиться человек, который, сидя в реактивном самолете на десятикилометровой высоте, летел в Америку со скоростью девятьсот километров в час, человек, которого на его пути к Внуковскому аэропо-

му долгое время сопровождали по обеим сторонам шоссе прекрасные новые дома, сложенные руками могучих кранов с великолепной быстротой!

Нет, темпами нас не удивишь! Американцы, устраивая свою выставку в Москве, решили удивить советских людей. Но понимали ли они, что давно прошло то время, когда трактор представлял для нас исключительное явление?

В том же журнале «В защиту мира» я прочитал следующие разумные слова американца Томаса Бювенена: «В течение многих лет американцам внушали мысль, будто Россия такая крестьянская страна, для которой такие сложные механизмы, как трактор, на века останутся недосягаемой тайной. Но сейчас это мнение, несмотря на его широкую распространенность, уже окончательно устарело».

Никита Сергеевич Хрущев говорил, что Америка очень богатая страна, у нее и сегодня пока еще больше тракторов, чем у нас. Но трактор — всего лишь трактор, не пошлешь же на выставку все свои тракторы, чтобы «ошеломить» нашего брата числом!

Так что, говоря об американской выставке в Москве, можно сделать общий вывод: цель ее была понятна и, скорее всего, правильна, а вот осуществление в общем было такое, что сразу стало ясно: не посоветовались организаторы и устроители выставки с Томасом Бювененом. Ни трактор, ни женское белье, ни пепси-кола, ни даже вращавшиеся на кругу новинки-автомобили не потрясли посетителей.

Я не хочу тем самым как-то признать, опорочить продукцию американской промышленности. Гордость своими успехами не делает советского человека чванливо слепым. Мы уважаем хорошую работу. Вот и в США меня многое искренне обрадовало, кое-что приятно удивило. Но тут же добавлю, что это удивление было вызвано не миром американской техники. Да, у них есть вещи, которые выглядят красивее наших. Но умный американец хорошо понимает, что изящное белье или сверхблестящий автомобиль — всего лишь белье и автомо-

биль, а вот вымпел на Луне — это явление поистине потрясающее.

Был я на обеих выставках: американской в Москве и нашей — в Нью-Йорке. Даже американские газетчики, из тех, кто хотел бы запечатлеть «тиично-грустное» лицо советского человека, признавали: советская выставка в Нью-Йорке была устроена лучше, основательнее, с большей ответственностью, чем заокеанская у нас.

Советская выставка в Нью-Йорке захватывала зрителя пафосом истории, бурным, поистине головокружительным темпом нашего роста, нашего созидания. Это был волнующий рассказ о том, как партия Ленина за четыре десятка лет — через тяжелейшие испытания войн и годы романтических пятилеток — вывела невероятно отсталую до революции страну, Россию гоголовских «брюк» и горьковских «орловых», Азию «рабов» Садриддина Айни, Кавказ междуособиц, — вывела на вершины современной индустриальной, культурной, бытовой цивилизации, не говоря уже об источнике всего этого — цивилизации социальной.

Мы не удивляемся. Это, может быть, самое удивительное. А советская выставка в Нью-Йорке, действительно, удивила американскую общественность. О наших последних достижениях в области науки и техники американцы знали очень мало, а теперь все больше убеждаются в том, что «спутник», по справедливости столь высоко ценимый в США, не случайно был запущен впервые в космос именно с Советской земли.

* * *

Так и рассвело, а я всю ночь глаз не сомкнул. Наверно, каждого человека, впервые приехавшего в американский пояс времени, почти целую неделю мучит бессонница. Организм не хочет привыкнуть ко сну в американскую ночь.

Утром в субботу Нью-Йорк проснулся не так уж рано. Мы пошли бродить по городу, зная, что настоящие нью-йоркские часы «пик» уви-

дим в понедельник. Может, это обстоятельство помогло нам убедиться в том, что нью-йоркцы никак не смогли бы похвастать собой чистотой своего города. На улицах валяются окурки, ветер швыряет с одной стороны на другую обрывки бумаги, с многостраничными газетами, вывалившимися из мусорных ящиков, он справиться не в силах.

Но зато чисто и опрятно в нью-йоркских гостиницах и учреждениях. Комфорт очень умеренный, деловой и приятный. В гостиничных делах США не испытывают наших затруднений; гостиниц, видно, больше, чем нужно. Потолки в комнатах очень низкие. А ванны... о ваннах лучше не спрашивайте! Они совершенно не рассчитаны ни по длине, ни по ширине, ни на «тичного» американца, улыбающегося, стоя во весь рост. со страниц «Лайфа», ни... на меня. Во всех гостиницах, где мы побывали, ванны рассчитаны словно на липуто. Тяжелая это штука «режим экономии» за счет размеров ванной комнаты! Сгибайтесь вчетверо, или — ходите немытые.

Жилые комнаты в гостиницах удобны, но тоже не отличаются особым простором. У нас в Тбилиси, в «Сакартвело»¹ командировочные противники «люков» чувствуют себя свободнее. Как видно, каждый хозяин американской гостиницы требует от архитектора, чтобы он всю свою энергию изобретателя направил к одной цели: выкроить как можно больше комнат...

К нашему счастью, нью-йоркский август был умеренным. После утреннего завтрака (замороженная дыня и горячий кофе) идем по всемирно известному Пятому авеню, растянувшемуся вдоль огромного городского Центрального парка. Там, за парком — река Гудзон. В конце парка «Колизей» — Советская выставка. Тут же стоянка... Такси? Нет, на облучке неповоротливо-древних экипажей восседают старики-извозчики с традиционной окладистой бородой и усами, в старых национальных костюмах.

¹ «Сакартвело» — название недавно выстроенной в Тбилиси современной гостиницы

в высоких цилиндрах — подлинные извозчики Марка Твена. Направьте на них фотоаппараты, они сейчас же примут величественную позу. Вот села в фаэтон молодая пара. Старая и юная Америка! Дядя Сэм, как изображают его художники всех стран, и его потомки.

Пятое авеню... Богатые магазины... Красив городской Центральный парк, но, оказывается, злая эта красота! Ночью парк становится гнездом убийц и рецидивистов. Шеф полиции заявил, что сам он ни за какие доллары не войдет ночью в Нью-Йоркский центральный парк. А уж отвечать за других — и подавно не будет. Нашему читателю трудно поверить в это. Но факт есть факт: нравы золотоискателей Клондайка переселились в современный американский город. В Центральном парке грабят даже дипломатов. И дипломатов «дружественных» США стран в том числе. Не берусь утверждать категорически, но думаю, что последних — грабят с особым удовольствием.

Пятое авеню кончается Гарлемом — городом негров.

Мы пойдем туда, к потомкам дяди Тома, — позже.

«Шеф» нашей делегации — Роберт Даулинг, президент американской ассоциации национального театра и академии. Это его официальный титул, а вообще-то он видный политический деятель Америки, кроме того — инженер по специальности, кроме того — один из богатейших жителей Нью-Йорка, собственник театров, кино, разнообразных зрелищных предприятий многих городов США. Этот меценат искусства только на Бродвее владеет несколькими кинозалами. К нему-то мы и едем теперь...

Встретил нас высокий пожилой человек с орлиным носом и веселой улыбкой. Познакомились. Узнав, кто мы и что мы, Даулинг провел нас в приемную, где представил жене и некоторым членам академии. «Чувствуйте себя, как дома, — сказал он и подошел к длинному столу; взял полный стакан виски с содовой, протянул такие же стаканы нам. За нашу делегацию, за работников многогранной советской культуры, которая лицом к лицу встречается с

американцами на их территории! За здоровье советских руководителей, недавно специально пригласивших его в Советский Союз! «Деловая не забываемая встреча», — сказал Даулинг. «Интересная страна» — Даулинг сопровождал вице-президента Никсона...

С открытой душой встречали нас простые советские люди, говорил Даулинг, я глубоко верю в то, что советский народ не хочет войны. (В этой вере, к слову сказать, Даулинг не одинок. После поездки Н. С. Хрущева в США сан-францисская газета «Кроникл» обратилась к своим читателям с вопросом: «Считаете ли вы, что русский народ хочет мира?» Ответы: да — 97,9%, нет — 1%).

К сожалению, продолжает Даулинг, в нашей делегации был человек, который вел себя у вас плохо и своими выступлениями подтвердил окончательно свою репутацию, как вы говорите, поджигателя войны. Нам, американцам, придется объединить все наши музыкальные силы, чтобы мирной симфонией заглушить грубые выходки этого человека.

Любопытно — о ком это ведет он речь? Выяснилось, что наш «шеф» имел в виду («только я не хочу, чтоб об этом знали журналисты; среди вас ведь нет журналистов?») адмирала Риковера. Но Риковер не делает погоды; мысли американцев выражали мы, настоящие сыны Америки, приехавшие в Советский Союз вместе с Никсоном.

Последующие события внесли существенную поправку в эти слова о «настоящих сынах Америки». Мистера Никсона, благословлявшего вместе с мистером Эйзенхаузером пирата Пауэрса, мы не будем считать «настоящим сыном Америки», скорее мы отнесем его в тот самый один процент читателей «Кроникла», которые сказали «нет» мирным устремлениям советского народа. А еще вернее — занести его в ту совсем уж ничтожную долю процента людей, которым выгодно говорить самим и убеждать говорить других: «нет». Не знаю, может быть, наше мнение о Никсоне и расходится с мнением Даулинга, может быть, он по-прежнему считает

Никсона миротворцем. Что ж, останемся тогда каждый при своем.

Роберт Даулинг привез в Советский Союз для посадки семь деревьев — символы семи муз, а одно дерево — символ мира. Пусть над этими саженцами никогда не повеет больше ветер, поднятый моторами «У-2 Локхид»!

Там, в Нью-Йорке, Даулинг сказал нам, между прочим, не огорчайтесь, мол, что сегодня в Нью-Йорке плохая погода (шел дождь), в таких случаях мы, американцы, советуем: «Гость, если ты у нас встретишь непогоду, то подожди, будут и погожие дни».

* * *

В Нью-Йорке каждый район — это отдельный большой город. Мы осмотрели эти районы: Манхэттен, Бруклин, Бронкс, Куинс, Ричмонд, Гарлем.

А вот и Уолл-стрит — узкий провал между высоченными громадами. Входишь словно в Дарьальское ущелье. Только чувства совсем не те, и нет, конечно, ощущения красоты увиденного. Вообще-то в небоскребах есть своя красота, и многие хорошие американцы — может быть, по привычке? — любят и гордятся этими колоссальными сооружениями. Но я не слышал, чтобы кто-нибудь гордился мраком Уолл-стрита.

Стоим и смотрим на эти «гнезда» финансовых королей. Вдруг к нам подошел какой-то небритый, помятый старичок (как он узнал, что мы советские люди?) и сказал по русски:

— Это надо разрушить, надо разрушить эти адские гнезда!

Русский эмигрант. Когда-то приехал сюда вовсе не для разрушения Уолл-стрита. Трудно, ох, как трудно доходят иногда до людей простые и мудрые мысли!

На Уолл-стрите почти никто не живет. Здесь «делают деньги», это — завод бизнеса. Банки... банки... банки...

Новые американские небоскребы, — их здесь называют зданиями двадцать первого века — оставляют впечатление грандиозных стеклянных коробок. Жарким летом внутри их прохладно. Не знаю, как зимой.

В городе разрушаются старые дома. На их месте воздвигаются новые небоскребы. Фантастически вы-

сокая рента на землю ведет миллиардеров и миллионеров все выше и выше в небо (прими их души, боже, и чем скорее, тем лучше!).

Здание Организации Объединенных Наций.

Колоссальный комод из стекла и алюминия. На асфальтированном дворе суетится народ. Осматривает здание, будто музей. В известном смысле это и есть музей — летопись борьбы одних стран за мир и проволочек и препятствий со стороны представителей других стран.

Здесь я встретил и разговорился с врачом-грузином Нодаром Николаевичем Кипшидзе, который работает в нашем постоянном представительстве при ООН.

— Вы хотите доктора Кипшидзе? Сейчас... Это человек авторитетный... — сказали нам в справочном бюро... И доктор Кипшидзе многое показал нам в этом громадном городе, который он знает сейчас, кажется, лучше, чем Тбилиси.

Царк-авеню...

Китайский город...

Итальянский квартал...

«Негритянское гетто».

Мы входим в Гарлем.

Название дали голландцы, в память о своем голандском Гарлеме. Когда-то это был отдельный населенный пункт на острове Манхэттен.

Сейчас? Трудно представить себе большую плотность населения в каком-нибудь городе на земном шаре. В Гарлеме теснота вдвое больше, чем в других кварталах Нью-Йорка. Гарлем напомнил мне старые «азиатские» части больших городов капиталистического Востока. Собственно, такое же место — место резервации — он занимает и в Нью-Йорке. В Гарлеме живут только негры — в старых, дряхлых, переполненных домах.

Входим в Гарлем...

На одной улице около трехсот негров окружили оратора. Тот стоит на стуле и что-то проповедует. очень взволнованный, руки и глаза в стремительном движении. Выяснилось, что он протестует против незаконных действий белых полицейских в Гарлеме.

Такие митинги происходят довольно часто. И не только на улицах Гарлема. Белые полицейские

очень часто дают неграм повод для митингов протеста. На «белых» же авеню и стритах поводы для привлечения внимания могут быть самые разнообразные. Митинг, диспут, манифестация может возникнуть из-за того, что кто-нибудь начнет упорно убеждать свободных от дела прохожих читать и комментировать библию только так, как он сам. Собирайтесь на улицах, обсуждайте публично такие вопросы сколько угодно — полиция вас не тронет, здесь демократия, свобода слова! Другое дело, конечно, — демонстрация рабочих или протест негров! Тут, полицейский, смотри в оба!

Улицы Гарлема... Вы стоите и смотрите на тех, кто проходит по ним, на стариков, точно сошедших со страниц книг Бичер-Стоу, на их молодых потомков.

Отсюда, из Гарлема, вышел знаменитый певец, наш большой друг Поль Робсон. Вот его дом...

Вы здесь вспоминаете всех негров, которые внесли свой огромный вклад в культурную, научную, спортивную славу Соединенных Штатов Америки, Ленгстон Хьюз... Уильям Дюбуа... Джо Луис... Петтерсон... баскетбольная команда «Гарлем»...

Негры — настоящие «стопроцентные» американцы. Они любят свою родину.

Как и всякий житель Нью-Йорка, они любят и автомашины. Тут у многих негров есть автомашины, только устаревших марок, поношенные. Но автомобиль — это... автомобиль, пусть даже на нем уже много километров ездил белый. Вот сидит негр в *своей машине*, со своей семьей, счастливо улыбается, хочет куда-то помчаться. Как маленькие медвежата, прыгают и хохочут в кабине его дети. Они очень смешные. А смотреть на них — и весело, и грустно. Куда помчится их семья? Сколько препятствий поставили, сколько ям вырыли на пути негритянского населения белые «хозяева» США!

Нью-йоркцы обладают одной очень характерной чертой. Вы спрашиваете, скажем, шофера такси:

— Скажите, пожалуйста, что это за здание?

— Это здание принадлежит страховому акционерному обществу и стоит двенадцать миллионов долларов.

— А вон то?

— А в том находится контора «Стандарт-оил». Стоит оно пятнадцать миллионов долларов.

Гражданин Нью-Йорка считает, что самая главная характеристика здания — это его цена. Он называет ее, будто хочет сейчас же его продать (а я даже не поторговался).

Реклама журнала «Лайф»: движутся силуэты красивых женщин в модных платьях и шляпках. «Лайф» — по-русски жизнь. Авторы рекламы отвечают на вопрос: в чем смысл жизни? Богатство! Удовольствия! Мода! Секс! Еще дальше табачная компания: огромная голова американского джентльмена, который тучами выбрасывает изо рта серый дым сигарет. Расходы (столько-то долларов) окупаются!

Огни... огни... Все это кричит тебе: гони деньги — и ты получишь богатство, удовольствия, моду, секс... вот это будет «лайф»!

Полезное применение электричества на Бродвее — это ярко освещенные «переходы».

Бродвей в тридцатых годах Ильф и Петров описали так: «Электрический свет здесь похож на одержимого животного на цирковой арене. Его вынуждают прыгать и обезьянничать, преодолеть препятствия прыжком, моргнуть глазом, танцевать; спокойную электроэнергию здесь превратили в морского льва Дурова, он рылом ловит мяч, жонглирует, умирает, оживает, делает все, что ему приказывают. Здесь никогда не прекращается электрический парад. Огонь реклам вспыхивает, кружится и гаснет, чтобы в ту же секунду заново блеснуть, а буквы великие и малые, белые, красные и зеленые буквы, беспрерывно бегут куда-то, чтобы после секунды вернуться обратно и возобновить свое бесконечное движение».

После написания этих строк прошло много времени. Техника ушла далеко вперед. Представьте себе

теперь, что такое Бродвей сегодня! Моросит дождь.

Оглушенный сleetом и его отражением в воде, я подхожу к дверям «Говернен Клинтон».

Из гостиницы выходит какой-то вырядившийся джентльмен. Он подходит к такси. Дверцу кабины не открывает до тех пор, пока не побегает швейцар. Высокомерный взгляд — почему, мол, опоздал? Твоя обязанность — проводить джентльмена в такси. За эту «услугу» джентльмен заплатил хозяину гостиницы. «Сервис»!

Всю ночь шел дождь, и утром, когда он перестал, вершины небоскребов закутал атлантический туман.

Сегодня, по нашему плану — увлекательное путешествие по реке Гудзон на речном пароходе «Гамильтон».

Долго, очень долго сопровождал нас город. Река такая спокойная, что не поймешь — плывешь вверх или вниз. Кажется, что это спокойствие придает Гудзону серый, ровный, длинноящий бетонированный проспект вдоль реки.

Но вот кончается набережная-проспект, и соседом реки оказывается Центральный парк. Тот самый. Где грабят. И он тоже долго, очень долго сопровождает Гудзон своими деревьями. А еще дальше — пошли небоскребы. На берегу соревнуются между собой рекламы многих фирм: «ситроены» и «шевроле», «дженерал-моторс» и «нептун»...

Это — владения американских мультимиллионеров. Да, а сколько таких королей в Америке? Кажется, сорок семь, не так ли?

Вот церковь-небоскреб. Церковь-небоскреб? А почему бы нет? Ведь церковь тоже обращена к небу. И Рокфеллер немало думает о боге.

Рядом с церковью второй небоскреб. Торговый дом. Очень логичное соседство... если руководствоваться логикой бизнеса. Вышел, согрешив, из торгового дома — тут же пошел в церковь, покаялся. «Сервис»! Говорят, что Иисус Христос выгнал торговца из храма. Правильно сделал. Зачем же теперь торговать в храме? Теперь у бизнеса не тот размах.

Я вспоминаю строчки из стихотворения Христа Ботева:

Он в церковь входит, и церковь

Он превратил в торговый дом

...Наш пароход рассекает воды

Гудзона.

Интересное путешествие совершили мы на нью-йоркском пароходе «Гамильтон», чудесные виды «природы» открылись нам с его палубы!

И все-таки природу мы увидели. «Кусками». Меж доков, где молчаливо, будто затаив дыхание, стояли огромные океанские пароходы.

Красивы берега Гудзона, то покрыты лесом, то — в обломках скал, то — в украшении курортных домов. Издали эти дома заставляют вас вспомнить Босфор, прекрасный, незабываемый сон моей памяти. Но здесь не Босфор.

И все же я думаю, что природа и техника не враждуют друг с другом, вернее могут не враждовать. Человек, чей разум изобретает машины, продолжает испытывать радость от общения с природой, — он только не так непосредственно, но гораздо глубже воспринимает ее. Близость к природе — необходимая и прекрасная потребность человека...

Что такое?

Гром джаза сотрясает пароход и прогоняет прочь мои мысли...

Сопение саксофона, лай аккордеона... глухой барабанный стук...

На палубе начинаются «близкие к природе» танцы.

— Рокк-н-ролл... Хула-хуп!

Вспоминаю: перед отъездом из Москвы, в ресторане гостиницы «Советская», поздно ночью я ужинал со своим старым другом Нико Мехузла. Что-то похожее изображал на маленькой эстраде джаз. И развеселившиеся молодые пары самозабвенно исполняли танец, кружась в поворотах, больше похожих на повороты вальса. Это и есть рокк-н-ролл? — недоумевал я тогда. — Что же в нем плохого?

Вдруг какой-то парнишка пригласил девушку, и вот они начали эpileптически шататься. Их ноги, словно измученные полиомиелитом, держались в разные стороны. Парень гнулся, как старый, пришедший в негодность складной нож, глаза его горели, словно расширенные гашишем, а выражение лица оставалось равнодушным.

душным, заспанным. Тут уж вальсом и не пахло. Нам очень тогда не понравился этот «танец».

И многим другим тоже.

А потом, когда этот парень очень уж вошел в раж — все с тем же сонным лицом, — и его ноги вот-вот должны были оторваться, а фигура переломиться пополам, из-за какого-то столика встал плотный, средних лет мужчина: нахмуренный и грозный, он подошел к танцующей паре, без церемоний взял парня за галстук и решительным голосом военного приказал:

— Проваливай на свое место.

Парень очнулся, оскорбился, выпрямился, но, смерив говорившего глазами, съежился и, как побитый, пошел на свое место. И девушка с растрепанными по-модному волосами пошла за ним, правда, высоко подняв нос.

Мы смеялись вовсю.

«Проваливай на свое место!» Хорошо бы это сказать и здесь, американским «стилягам». Я вышел на палубу и, оглушенный все той же музыкой, увидел... совсем иную картину.

Самозабвенно и весело танцевали негры. Нет, это был не рокк-н-ролл. Было что-то похожее в ритме, но выходило что-то другое. Это был танец без кавычек. И я убедился, что эти танцы интересны и естественны, если их понимают, ими без нарочитости, не из-за слепого подражания моде, выражают свои чувства люди, которые создали их.

Чувство меры — великое чувство. Есть оно в человеке — и он создает искусство; нет — тогда вместо искусства возникает посмешище.

Разве наши грузинские национальные танцы не кажутся нам некрасивыми, уродливыми, когда их исполняют люди, не знающие природы этого танца, не знакомые с грузинским национальным характером, пластическими традициями и т. д.? Получается тоже пародия — не на то, что исполняется, а на того, кто исполняет. Так обстоит дело и с танцами, основанными на ритмах, «блзких к природе» негритянской музыки.

Какой, оказывается, веселый народ — негры! Танцуют все — и

стар и млад, и женщины и мужчины, — один из них в красной рубашке, в пестрых штанах весь отдался ритму! А дети! Они кружатся, кружатся, неустанно кружатся. А вот один старичок, оставшись без партнерши, отошел себе в уголок и усиленно там работает погами и корпусом. Вот мать учит танцевать малюсенького мальчика, совсем маленького, мальчика опять-таки прямо из Бичер-Стоу; видно, мальчик не очень хорошо слышит, потому что мамаша — очень полная женщина, комично надувая щеки, свистит мелодию — джаз-оркестра ей мало!

Некоторые танцоры сняли обувь. Другие побросали в угол рубашки. Музыка играет без передышки, и «Гамильтон», словно у него закружилась от нее голова, пошатываясь, идет по Гудзону.

Я никогда не забуду этого танца. Танца людей, полных неисчерпаемой энергии, людей, которые могут заразить этой энергией, и других — вот белая девушка «откалывает» столь же энергичные па, танцует, танцует без устали. По нашему нескрываемому любопытству танцоры поняли, что мы впервые видим их настоящее, неискаженное искусство, и с особенным старанием показывали свое мастерство.

Впрочем, не много ли о танце? А почему много? Главное — что увидеть в таком, казалось бы, простом событии, как негритянский танец на палубе нью-йоркского речного парохода. Владимир Луговской однажды в Париже тоже видел «бал цветных людей» и был потрясен блеском и своеобразием «стрекочущей румбы», исступленной красотой танцоров, когда —

...все, светясь, уносится случайно,
Как вихрь, мятущий землю плавным кругом:
Раздвинутые зубы, волны пыли,
И дудочка какая-то пищит,
Круженье, запрокинутые брови,
Едва заметные на темной коже,
Лешевые стекляшки ожерелий
И удивленье на ребячих лицах
Перед вершиной танца...

И эта страсть, динамика, экспрессия вызывают у поэта мысли об этих людях, об их трагической, а в будущем прекрасной судьбе.

Из бедности и огненного горя
Они творили жизнь рукою страстной
И, вырванные горем из забвенья,
Пришли, чтоб нашу участь разделить.
В истории всего земного шара.
Свою волей и своим умом,
Своим душевным, необычным ритмом
В наш мир они войдут, чтоб управлять
Своей судьбой по собственному праву,
Собою украшая шар земной.

Пусть эта моя цитата из великолепной «Середины века» В. Луговского будет и моим комментарием к увиденному на палубе «Гамильтона» танцу, а вместе с тем и моим приобщением к тем чувствам радости и гордости, которые испытывает сейчас каждый советский человек, всем сердцем поддерживающий борьбу могучей Африки за свободу...

...Идем по Гудзону вверх против течения реки.

«Кладбище кораблей!»

Вот где «похоронили» американцы вышедшие из строя корабли! — В устье Гудзона, на протяжении десятка километров.

Корабли стоят, как часовые, — мрачные, пустые, одинокие, отрешенные.

А вот и военно-морская академия. Она стоит на берегу Гудзона, как огромный замок-крепость «Уэст-Пойнт».

На обратном пути, — оставив пароход «Гамильтон» и пересев в автомобиль, — мы по дороге осмотрели и академию. Это — целый город. Устланные бетонными плитами улицы. Приехавшие в воскресный день родные обнимали молодых «кадетов», затянутых в серые военные костюмы.

На стволах старинных пушек, расположенных вокруг памятника Вашингтону, уселись ребятишки. Играют в войну. Извечная мальчишеская привычка. Интересно, останется ли она в будущем? Или, скажем, в XXI веке сорванцы-ребята будут играть только в путешествия на другие планеты?

Наша машина въехала в прекрасный зеленый сад.

Гайд-парк. Имение Рузельта.

Сейчас дом Рузельта — музей. Здесь, как известно, побывал товарищ Хрущев. Среди высоких деревьев, в цветнике, мраморная плита — «Франклин Делано Рузельт». Здесь

он родился, в этом маленьком доме. В тот день его отец написал на стене: «Сегодня здесь родился прекрасный мальчик, он без одеяла весит десять килограммов». Десять килограммов? Трудно поверить! А младенец Трумэн? А младенец Эйзенхаэр? Мы бы желали, чтобы будущие президенты США рождались тоже прекрасными, здоровыми младенцами. А главное наше желание — чтобы они, став президентами, не впадали бы в детство. Пусть только в детстве играют они в войну! Только в детстве!

Имение Рузельта содержится в хорошем состоянии; доходы от имения и те деньги, которые платят посетители за вход в музей, идут на его содержание и сохранение.

Мы вернулись в Нью-Йорк поздно ночью.

Город горел огнем реклам и автомобильных фар. Огни были красные и синие.

* * *

Говорят, что в Нью-Йорке в дни празднеств случается до пятисот катастроф или, как здесь их называют, «экспидентов». (В английском языке есть слово «катастрофа», но, наверно, есть какое-нибудь облегчение для человека с проломанной головой, если катастрофу назвать «экспидентом»).

На улицах вы очень часто увидите до блеска начищенные автомашины с вогнутыми боками, поломанным передком. Ездят здесь так: каждая машина старается опередить соседнюю, машины просто липнут друг к другу. Упорством характера, оказывается, обладает каждый гражданин Нью-Йорка, во всяком случае со дня рождения автомашин.

За многоэтажными зданиями следуют многоэтажные гаражи. В Нью-Йорке их очень много. На целый город похож гараж здания Организации Объединенных Наций, расположенный в районе Бруклинских мостов.

Гаражи — своеобразные памятники культуры США. Здесь вы не увидите построенных на вершинах гор старинных монастырей и замков, вообще образцов старинной архитектуры, всего того, что в Европе

встречается на каждом шагу. А в Грузии? Джвари... Гелати... Баграти... Тмогви... Вардзия... По ним скучаешь в США, где всюду на вас обрушивается одна только «современность». Прошлое Америки — это только памятники участникам гражданской войны, стоящие в городских парках и на площадях.

Вот и музей современного искусства. Ему всего каких-нибудь тридцать лет. Музей частный, как и все в США. В правление музея входят и Рокфеллеры. Здесь представлены все виды искусства, начиная со скульптуры и кончая кинофильмами (Рокфеллеры к искусству не относятся).

В музеях Америки много замечательных творений классиков живописи и скульптуры, из Европы их перетащил сюда доллар. Раньше Европа покупала искусство других континентов земли, в особенности, искусство Азии. Сейчас, входя в музеи искусства Нью-Йорка, Вашингтона, Чикаго, вы чувствуете, что Европа переживает то же самое, что когда-то испытали азиатские страны.

Довольно богато представлено и современное американское искусство, в котором преобладает абстракционизм.

Несколько слов об абстракционизме.

Я, конечно, не специалист по живописи; выставки абстракционистов разных стран я посещал как любитель и размышлял — что же общего у этих полотен с высоким искусством? Нет людей, нет человечности. А ведь отрицание гуманизма в искусстве есть, в сущности, отрицание самого искусства.

Но, вместе с тем, я думаю, какие-то элементы абстракционистской живописи не следует полностью отрицать. Не как выражение каких-то глубочайших «подсознательных» тайн современного мира, а в декоративном, бытовом применении — в формах мебели, абажуров, в разрисованных обоях.

В США абстракционистам дают расписывать входы в гостиные, стены в спальных комнатах, но все это, конечно, не для художественных галерей.

А вот в музее современного искусства в Нью-Йорке, рядом с

«Бальзаком» Родена стоит «Коза» какого-то абстракциониста. Фигура составлена из железных обломков, палок и тому подобного материала. Здесь в большой моде фигуры из металлических отходов: возможно, когда мы уже вплотную подойдем к США по производству стали, американские металлургические короли нанесут удар по «железному» течению в абстракционизме, забрав у него утиль. Но — шутки в сторону, — допустим, что эта фигура, действительно, чем-то похожа на козу; но можно ли представить себе, чтобы какой-нибудь абстракционист из таких же кусков железа создал образ «Мадонны»?

Посмотрите на «Портрет бабушки» Довье. Склевые обрывки старой наволочки и старой газеты (пусть никто не отнимает у автора такую бабушку!). Пожалуй, этот «портрет» даже остроумен, если руководствоваться старым определением остроумия, как соединения несоединимого.

Сравниваете все это с висящими тут же картинами Гогена или с удивительным Пикассо. И — возмущение закипает в груди!

* * *

Нью-йоркская железнодорожная станция «Пенсильвания» находится в центре города под землей. Сюда приходят и отсюда уходят сотни поездов.

Сели. Поехали.
Нью-Йорк...
Филадельфия...
Балтимора...
Вашингтон...

Из вагонов, охлажденных дуновением «эркондишен», выходим в страшную жару. На термометре — девяносто градусов по Фаренгейту.

У дверей вагона нас встретил новый гид: молодой человек маленького роста, с военной выпрямкой приветствовал нас на русском языке с немецким акцентом.

— Я не старый washingtonец. В поисках работы перебрался сюда из Австрии. Обещали устроить в телевидении, я ведь актер. Но пока ничего не выходит. Временно служу в этой фирме.

— Как вас зовут?

— Саша.
— Саша?!
— Саша...
— Хорошее имя. А фамилия?
— Джабадари.
— ?!
— Джабадари!
— Откуда, бичо¹! — по-грузински вмешался я в разговор.

К сожалению, Саша знал грузинский язык в объеме двух-трех случайных слов и детского стихотворения «ачу, ачу, цхено». Оказывается, его отец в 1912 году поселился вначале в Бельгии, потом переехал из одной европейской страны в другую. По специальности режиссер, поставил «Измену» Сумбаташвили-Южина и много других спектаклей в парижском «Одеоне». Окончательно семья осела в Австрии, где отец и умер. Перед смертью его последними словами были: «Саша, не забывай, что ты грузин». Это он повторил сыну пять раз.

Саша привез нас в гостиницу «Сомадор». Это напротив Капитолия.

После Нью-Йорка Вашингтон производит впечатление провинциального европейского города. Здесь и автомашины блестят не так, как в Нью-Йорке. Здесь я увидел старинный одновагонный трамвай! А небоскребов нет и в помине. Много зелени, много скверов. Мирный, спокойный, тихий город. Город особняков, где расположены правительственные и государственные учреждения страны.

Торговый департамент... Департамент флота... Верховный суд... Федеральное бюро расследований... Дом атомной энергии... Пентагон...

Здание печально знаменитого Пентагона — это всего-навсего старый дом. А вот его обитателям почему-то очень хочется захватить побольше пространства на всем земном шаре.

Вашингтонцы с уважением хранят память о президентах Линкольне, Вашингтоне, Джейфтерсоне. Пентагонцы делают все, чтобы осквернить память этих людей, отказаться от их наследия.

Мы подошли к национальному кладбищу. Здесь похоронено больше миллиона американцев, которые имеют особые заслуги перед Соеди-

ненными Штатами. Это — солдаты прошлых войн... Жертвы второй мировой войны. Склоняют головы. Рядом — могилы погибших в Корее. Кто звал туда американцев? Кто виновен в появлении этих каменных крестов?

Одну новую могилу и сейчас рыл бульдозер.

Бульдозер. Соединенные Штаты — страна техники. В том числе — на палмовых бомб, «У-2 Локхид», водородного оружия и бульдозеров, заменивших могильщиков.

А вот и Даллес...

Маленькая, огороженная цепью могила среди множества других, неогороженных. И здесь — маленький каменный крест.

Даллес... «Холодная война», «политика силы», «балансирование на грани войны»... — и вот итог: маленький каменный крест. Люди уходят из жизни, оставляя разную память о себе, даже если выражается эта память одинаково.

Могила «неизвестного солдата».

Во многих странах мира, на Западе и Востоке, я видел ее. Нельзя без волнения смотреть на это воплощение благодарности потомков тем, кто отдал свою жизнь на поле брани. Но нельзя также не понимать, что людям известно, во имя чего пал «неизвестный солдат».

* * *

Сегодня мы приглашены в городской летний театр, расположенный в естественном лесу: там под ногами шуршат еще прошлогодние сухие листья.

Гарри Беллафонте.

Вот как писала американская пресса несколько лет назад о знаменитом певце:

«Когда поет Гарри Беллафонте, в его барitone звучат ритм и страсти Антильских островов. Тот, кто его слушает, видит яркое солнце, море и пальмы. Рожденный в Нью-Йорке и воспитанный на Ямайке, Беллафонте является для миллионов олицетворением вест-индийской безграничной любви к жизни.

Певец редкой музыкальности, он великолепно передает красоту религиозных гимнов, согретых глубокими чувствами негров, нежные английские любовные песни, душеразди-

¹ Бичо (груз.) — парень.

рающие напевы древнего Израиля и беспечные, веселые ирландские баллады. Большая победа пришла к Беллафонте... Пластинки с его песнями продаются сотнями тысяч. Своеобразный, самобытный «актер песен», Беллафонте поет с истинной драматической силой».

Гарри Беллафонте...

Изящный, высокий, красивый мулат. Выйдя на сцену, еще не начав петь, он уже «берет в руки» всю аудиторию. Летний театр, вмещающий более пяти тысяч зрителей, переполнен до отказа. Ого! Здесь весь вашингтонский «свет». Сотрудники правительственные учреждений и их семьи: горят бриллианты, ярко переливаются серьги, ожерелья, браслеты, блестят веера, топорщатся вечерние платья, бросают вызов друг другу острые туфли на гвоздях.

Беллафонте выводит на сцену свой ансамбль. Негритянский оркестр: гитара... аккордеон... саксофон... барабаны.

Мелодии негритянских песен нам не всегда понятны. Только иногда одна из них вдруг ударит по струнам сердца. Но в исполнении Беллафонте песни со страстной, тоскующей мелодией, выражющей возмущение рабоценных народов, доходят до глубины нашей души.

Вспоминается певица — полуоглая девушка из Ямайки. На эстраде ночного бара, скучно освещенного синими лампочками, она безнадежно, устало, искусственно улыбаясь, извивается перед парнями, накачавшимися виски.

Беллафонте исполняет еврейскую народную песню: «Хава-Нагелла». Грустная, очень грустная песня.

— Хава Нагелла, Хава Нагелла... Хаваанна рананна...

...Ах, как исполняет ее ансамбль Беллафонте! Я и сейчас не знаю точно, что означают эти слова, но ясно чувствую, что эту песню создал многострадальный народ.

«Хава Нагелла»...

Беллафонте — мастер импровизации.

После короткой паузы певец сообщает слушателям:

— Сегодня на нашем концерте присутствует делегация работников культуры Советского Союза. Я от

всего сердца и от всей души приветствую их.

Беллафонте аплодирует нам.

Весь зал горячо поддерживает его.

Мы встаем, благодарим зал и аплодисментами приветствуем Беллафонте.

Певец начал прекрасную народную песню «Матильда». В зале раздается смех. Немного погодя Беллафонте просит амфитеатр спеть вместе с ним. Амфитеатр поет. Потом он обращается к рослым полицейским: пойте и вы, пойте! Полицейские поют: «Матильда, Матильда!»

— Очень люблю, когда полицейские поют! — кричит Беллафонте.

В зале хохот.

Теперь почти весь зал поет. Почти.

Беллафонте смеется: «Первые ряды, почему не поете? Удивительное дело, — миллионеры, люди правительства, если вам не поется, то кому же тогда и петь?» Смех. «А может быть, самому правительству сейчас не поется?». Опять смех.

Шутка подействовала. Миллионы тоже запели. «Матильда, Матильда». Нам тоже захотелось петь. Так, между нами и пятью тысячами зрителей в летнем театре Вашингтона протянулись невидимые нити. Вокруг нас — улыбающиеся лица, взоры добрых старых знакомых. Нас сблизил человек с веселым лицом, который дирижирует всем залом и всех заставляет петь: «Матильда... Матильда».

Мы на каждом шагу убеждались в том, что у американцев огромная тяга к мирному культурному сотрудничеству с народами Советского Союза. И среди работников культуры, и среди «простого народа». Жаль, конечно, что «люди правительства» США не так внимательно слушают голоса людей доброй воли. Но я верю, что в конце концов подобную «музыкальную глухоту» можно излечить.

После окончания концерта мы пошли за кулисы. Певец дружески встретил нас, рассказал о своей мечте: сыграть в кино роль великого русского поэта Пушкина.

Недавно московский журнал «Иностранная литература» сообщил, что известный шведский режиссер Бергман задумал поставить такой фильм. И, как говорится в газете «Сток-

гольм-Тиднинген», идею фильма подсказал Бергману «известный американский певец Беллафонте, который решил играть в фильме главную роль».

На следующий день по приглашению винтажной гильдии мы встретились, в каком-то дворце с американскими работниками искусств.

Обычные приветствия. Обычный питьевой антураж: виски... оранж... кока-кола... пепси-кола...

Приехал и Беллафонте. С небольшим опозданием, как это у нас делают молодые поэты.

Все тепло встретили его. Начался откровенный разговор (насколько это возможно при посредстве переводчиков). Я захватил с собой из Тбилиси несколько пластинок с грузинскими народными песнями. Подарил их американскому певцу, а он в свою очередь каждому члену нашей делегации преподнес свой полный концерт на двух больших пластинках.

— Грузинские народные песни... Я пока совсем не знаком с этим миром, — сказал Беллафонте, — как только приеду домой, сразу же прослушаю их.

Не знаю, какое впечатление остались у Беллафонте грузинские народные песни. Я же часто слушаю у себя его песни.

«Хава Нагелла, Хава Нагелла... Хаваанна рананна».

* * *

Посмотрим Белый дом?

А что, собственно, здесь осматривать? Это не Эрмитаж и не Лувр. Обычный двух-трехэтажный европейский дом. Сто тридцать две комнаты. Президенту принадлежат пятьдесят две (по-моему, вполне достаточно даже для президента). Как только человек делается президентом, его по закону переселяют сюда. «Временная прописка», так сказать. Условия хорошие. Стоит побороться за вторичное избрание.

Лужайки Белого дома не идут ни в какое сравнение ни с бельгийским королевским парком, ни с садом индийского президента, ни, тем более, с великолепным королевским садом Версаля.

Завтра утром мы уезжаем из Ва-

шингтона. Сегодня весь день осматриваем город. На улице человека не увидишь, все сидят в своих машинах и лихорадочно вдыхают «эркондишен».

Национальная художественная галерея Соединенных Штатов Америки. Тициан, Веронезе, Тинторетто, Ван-Дейк, Писарро, Пикассо, Матисс... Национальная?

Дом президента Вашингтона и его имение за городом. Двухэтажное старое здание. Маленькие комнаты. На стене ключ Бастилии, который Вашингтону подарил Лафайет.

Вот и комната, где умер Вашингтон.

* * *

На второй день комфортабельный автобус двинул в самое сердце США. Мы направились за тысячу километров в город Лексингтон, на родину известного американского композитора Стефана Фостера.

В Лексингтон нас пригласили на юбилей Фостера.

Дороги содержатся в полном порядке. Я бы не сказал, что они чрезмерно широки. Нет, дорога есть дорога, но вы нигде не забуксуете, вам не порвет покрышки какой-нибудь непочиненный, беспризорный участок. Кстати, частого ремонта и не требуется (дорога бетонная). По ее середине бежит обязательная белая линия; длиннющая, она пересекает веси, грады, поселки страны.

Восточная Вирджиния...

Машина мчится по дороге, летящей стрелой, среди глубоких лесов. Впрочем, в глубине лесов по обеим сторонам — дачи. На обочине дороги — магазины. Глаз не устает читать рекламы... Любуйтесь природой, джентльмены!

На холмах — кукурузные поля, ухоженные, прополотые. Останавливаемся. Исследуем. У нас, в Западной Грузии, сорт лучше. Приятно. А вот дороги у нас... Неприятно.

Мчимся дальше.

Мелькают города, городки, городишкы.

В США, как известно, многие города и населенные пункты имеют одни и те же названия (чего ломать зря голову!). Город Чарльстон. Тот, который подарил миру «Чарльстон»?

Нет, другой. К танцу не имеет отношения. Просто город в горах.

Вот сидят люди на маленьком красном тракторе и умело пашут склон горы. И среди кукурузы пользуют маленькие прополочные машины. Другие маленькие машины складывают сено.

Культ маленьких машин, делающих большие дела.

Мне кажется, мы еще недостаточно ценим маленькие машины и слишком любим огромные. Я вспоминаю писателя Леонида Андреева, о котором Корней Чуковский писал так (почему-то мне захотелось здесь привести его строки):

«Он любил все огромное.

В огромном кабинете, на огромном письменном столе у него стояла огромная чернильница».

Я думаю, нам стоит научиться уважать, наряду с большим, и маленькое...

Снова — о городах...

Оставили позади какой-то хребет, очутились в маленьком городке. Ваша машина подошла к бензоколонке. Вам налили бензин. Тут же «делают профилактику», если это необходимо. Машины ставятся на рельсы, которые поднимают ее на определенную высоту. Человек смотрит вверх, ковыряется во внутренностях автомобиля, о-кей — и через минуту опять автомобиль, как лань среди лесов, мчится по бетонному пути.

Таков сервис. Подлинный американский сервис в мелочах, на которые мы часто не обращаем внимания и из-за которых еще часто можно на целый день испортить себе настроение. В наших маленьких грузинских городках и поселках вы подъезжаете к парикмахерской — побриться — и читаете лаконичную надпись: «Закрыто на обед». А еще нет и двенадцати. Бывает? Бывает...

Но не будем заниматься критиканством. Поедем дальше. За лесами начались степи. Сколько неиспользованных земель по обе стороны дороги. Черт возьми! Прекрасная иллюстрация к пословице: «Сам не ест и другому не дает». В США, наверно, может поселиться еще столько же людей, сколько в ней есть сейчас, и земли будет вполне достаточно. Но на

решение подобных крупных проблем буржуазный «сервис» не замахивается.

Опять хребет. Маленькие дачные дома.

Рядом с чистеньkim удобным отелем, рядом с этим сервисом — много-километровые колючие кустарники, полынь, годами не расчищаемая, консервируемая земля, которая может прокормить тысячи и тысячи голодных. И это тоже — американская «экзотика»...

Мы въезжаем, кажется, в настоящий горный край. Рудная промышленность. Шахты. Старые, вымазанные углем дома. Грузовые машины-углевозы. Днем здесь людей не увидишь. Они под землей. Или где-то на других дорогах. В угольной промышленности США сейчас свирепствует безработица.

Мы едем уже второй день.

На краю дороги — ресторан «Кавказ».

Правильное название. Раз горы — значит «Кавказ».

Наконец — Лексингтон...

Маленький, в зеленых садах, городок. Дворики похожи на наши грузинские, в голубых прудах купаются ребятишки. Много цветов.

В летнем театре (театр и здесь расположен в лесу) был устроен юбилейный вечер композитора, собирателя музыкального фольклора Степана Фостера. Об этом тоже стоит рассказать. Тбилисцы как будто не лишены опыта в устройстве юбилейных вечеров. Там у нас на месяц приходится самое меньшее четырех-пять чьих-либо юбилеев. Мы в разных вариантах пропоем хвалу известному или менее известному юбиляру, а дальше пойдут тосты! Но юбилей Фостера был настоящим спектаклем, созданным по мотивам его творчества. Актеры, народные маски выходили прямо из леса на сцену, пели. Лунная ночь способствовала успеху этого своеобразного зрелища. Оркестром и певцами дирижер руководил из задних рядов театра, размахивая красным фонарем.

Провести ночь в гостинице нам не удалось. Нас повели в семью, чтобы познакомить с жизнью среднего американца.

Ну, что ж, познакомимся...

Прежде всего бросилось в глаза, что это была не такая семья, куда, как говорят, нельзя привести гостя. У Пауля Краузе, нашего хозяина, инженера и заведующего цехом завода, производящего виски, — однотажный дом. Краузе, конечно, в своем положении смог благоустроить его по последнему слову американской «семейной техники». Это приблизительно такой же дом «среднего американца», какой показывали на Американской выставке в Москве.

Автомашину входит, так сказать, прямо в дом, в коридор, где налево и направо расположены жилые комнаты. Выйдя из машины, вы являетесь прямо в приемную. Стены — из специального строительного материала. Как в стандартных домах, которые делают в Риге.

В доме — ничего лишнего. Здесь каждую вещь можно считать предметом первой необходимости. Хозяин с особым старанием показывал нам кухню. Кстати, это очень любопытная деталь: европеец будет показывать вам, ну, я не знаю, что — например, книги, картины, которые он собирает; в Средней Азии вас поведут в сад. Американцы поведут в подсобные помещения: в ванную, всякого рода туалеты, гараж и на кухню, где функции хозяйки выполняет электричество.

В гостиной дома Краузе — телевизор, радиола, книжная полка (любезный хозяин специально обратил наше внимание на «Доктора Живаго» Пастернака и «Петербург» Андрея Белого). Посуда? Специально для домохозяек отмечаю — посуда далеко не королевская. Много пластмассовой (пластмасса в США используется очень хорошо).

Пауль Краузе оказался человеком очень вежливым. Он пригласил в свой дом и актеров, участников юбилейного вечера. Сели за стол, пили виски и «случайно» прихватенные нами в дорогу армянские и грузинские коньяки. Задавали вопросы. Беседовали.

Утром мы осмотрели Лексингтон. Американскую «моду» (в одежде) понять очень трудно. Вернее сказать: кто как хочет, так и одевается. Тем более сейчас, летом. А на головах! Боже мой, чего только не надевают на голову здешние женщины.

Подобные головные уборы были, наверное, у солдат батьки Махно. Некоторые шляпки — целое подсобное хозяйство, полный натюрморт яблоко, груша, виноград. Идут женщины, а тебе издали мерещатся старые тбилисские «мокалаке» с фруктами на голове для продажи.

Нам показали городскую женскую школу. Говорили не о программах, не о кабинете физики, а о другом, о том, что, по мнению дирекции, на самом деле понадобится женщине в жизни. Здесь, помимо общеобразовательных предметов, учат кройке и шитью, приготовлению пищи, пользованию кухней, сервировке стола, уходу за ребенком...

* * *

Мы держим путь к Чикаго.

Под нашим самолетом проплывает густо населенная земля.

Как писал Уэллс?

«Слово «город» исчезает из нашего лексикона, как исчез «почтовый дилижанс». Для новых возросших районов, которые возникнут на месте старых городов, нужны новые термины, и уже сейчас можно назвать эти городские провинции урбанистическими районами».

Так их сейчас и называют. Например, в Нью-Йорке говорят, что уже не существует понятия «Большой Нью-Йорк». Это грандиозная паутина без определенных границ, в которую запутаны пригороды, маленькие города, административно подчиненные властям трех разных штатов. Это и есть урбанистический район Нью-Йорка.

А Чикаго?

Знаменитое стихотворение Эмиля Верхарна «Город» начинается так:

Из густых туманов
Выросшие этаж на этаже,
Плетеные лестницы,
Кружась, стремящиеся в небо,
Весь собранный,
Выросший, как великан,
Недосягаемый для взора, как
мечта.

Не о Чикаго ли написано это стихотворение?

Чикаго... Что это такое?

Говорят, что чикагцы очень любят, когда хвалят их город, и очень огорчаются, когда хвалят Нью-Йорк

(я не хвалил Нью-Йорк, по-моему, не стоило обижать чикагцев).

Чикагцы недовольны тем, что первое место в США остается за Нью-Йорком.

И это, конечно, очень странно, если принять во внимание, что каких-нибудь сто лет назад Чикаго был маленьким, совершенно незначительным населенным пунктом, и жило в нем что-то около 200 жителей.

Людям свойственно стремление к большему. Особенно, если этим большим обладает сосед. Таково отношение Чикаго к Нью-Йорку.

Чикаго... Вы входите будто в вымазанный углем, тяжелый, очень тяжелый город. Вам кажется, что здесь нельзя жить, что вы задохнетесь через пять минут, что этот город ляжет на вас, раздавит, расплещет. Но подождите, не кончайте самоубийством — и вы очутитесь в городе, расположенном у подножия небоскребов среди зеленых садов.

Озеро Мичиган...

Вы сразу вспомните мичиганских влюбленных Эрнеста Хемингуэя. Сам Хемингуэй — уроженец этого края.

К сожалению, в США мы не могли встретиться ни с одним писателем. Все они разбрелись по дачам. Картина, знакомая по тбилисскому лету.

Я бы с удовольствием встретился, например, с Эрскином Колдуэллом. Восемнадцать лет прошло с тех пор, как он путешествовал по Грузии. Я вспомнил свое старое стихотворение: «Если мы будем живы, и я приеду в твою страну, может быть, и на мою долю выпадет там удовольствие, может быть, и меня встретят тепло?» И вот я приехал...

Наше путешествие по США было коротким, но я получил удовольствие от встреч с американцами. Не от всех. Но таких, с кем было приятно встретиться, огромное большинство. Как везде на Западе, где кроме вице-президентов и поклонников Уоллстрита живут люди, подобные тем, о которых писал Хемингуэй или Колдуэлл в «Табачной дороге». Люди труда и честной совести. Люди, которые хотят мира.

Гостиница «Гамильтон»...

В Чикаго нас принял еще один меценат, король виски, очень бога-

тый человек. Маленького роста, очень живой и, как видно, не утомленный бизнесом.

На вечере в его доме не было сказано ни одного официального слова. Мы подходили друг к другу с бокалами, знакомились.

Во дворе, в большом бассейне, освещенном голубым электрическим светом, в полночь гости начали соревноваться по плаванию. Не могу похвастать тем, что прославил Родину в этом виде спорта.

Потом хозяин начал уговаривать гостей шашлыком. Шашлык в Чикаго... Это, — как бы подипломатично сказать, — не совсем шашлык. Кроме того, шашлык и виски не очень гармонируют друг с другом (об американском хлебе говорить не буду: пожуйте вату, и вы почувствуете его вкус).

В Чикагском музее более всего мне запомнилась картина одного абстракциониста под названием «Кубинская революция». Хаотическое собрание треугольников. Правящие круги США не так представляли себе эту революцию, когда совершенно реалистическими средствами хотели ее задушить.

Не думайте, что музей известен только этой картиной — здесь собраны прекрасные создания Эль-Греко, Пикассо и многих других мастеров.

Очень интересен музей индейцев. Здесь собраны ценные экспонаты индейского искусства, развивавшегося на протяжении двух тысяч пятисот лет.

Наш самолет держит курс на Бостон.

Сладкий сон в воздухе и...

— Буффалло... Ниагара...

По нашей просьбе летчик очень умело сделал разворот у знаменитого водопада.

Позже мне стало известно, что в это время у Ниагарского водопада стоял известный грузинский академик Сергей Дурмишидзе, который находился в Канаде, как делегат научного конгресса. По его словам, с противоположной стороны Ниагары он искал меня (позитивная наука все ищет больше на земле), а я находился в небе.

Бостон. Старинные узкие улички,

старинная гостиница, старинная мебель, деревянные кровати, столы и стулья со старыми немодными орнаментами — никакого абстракционизма — розы, фрукты, птицы, рыбы.

Представьте себе, глаза и уши отдохнули.

Очень интересна и эта Америка.

Старая часть города... первый парк в США...

Там, за рекой — Гарвардский университет; серый, в высоких деревьях, огороженный высокой стеной остров.

Мы плывем по реке. По берегу на зеленых скамейках сидят старики. В садах бегают ребятишки, а за ними собаки.

Почему-то все мы одновременно начали петь «Сулико».

Бостонские улицы уже многолюдны. Как пчелы, толпятся мужчины и женщины, большинство последних — в коротких штанах. Когда женщина молодая, стройная, тонкая — эта мода производит впечатление, а вот когда... ну, не буду.

От Бостона до Нью-Йорка — небольшое расстояние.

Один взмах крыльев, и мы опять в Нью-Йорке.

Мало времени остается у нас, но все же некоторые интересные встречи — еще впереди.

В тот вечер пригласил нас на балет король американской кинопромышленности Скурас. Это тот Скурас, который потом устроил большую встречу товарищу Н. С. Хрущеву. Скурас перед нашим вылетом в Америку был в Москве, где в это время проводился всемирный кинофестиваль.

Перед демонстрацией американской кинокартин из зала на сцену для приветствия поднялась группа известных американских кинозвезд. Группу вел пожилой, но хорошо сохранившийся, кряжистый мужчина. Он очень бодро взошел на сцену и от имени всей делегации приветствовал нас, находящихся в зале. Конец приветствия был таков:

— Я очень надеюсь, что мои кар-

тины помогут осуществлению вашего семилетнего плана.

Все рассмеялись.

В Москве на фестивале показал хороший фильм — «Дневник Анны Франк».

ЭМПАЙР
СКУРАС

* * *

Перед отъездом мы еще раз поднялись на «Эмпайр Стейт Билдинг».

Самое высокое здание Нью-Йорка. На нем — высокая башня радио и телевидения. Лифт двухступенчатый, как ракета. Работает гораздо лучше, чем экспериментаторы с мыса Канаверал.

Сверху открывается великолепное зрелище ночного Нью-Йорка.

Горящие стриты и авеню.

А в одном квартале — полная темнота. Перегорела электросеть.

Теперь там, на этом участке, собралась вся полиция, чтобы урегулировать движение (и на улицах погасли лампы). Как потом нам рассказали, многие близкие соседи в том районе впервые познакомились друг с другом в поисках парафиновых свечей.

Последний раз проехали сорок второй стрит.

Последние впечатления от Нью-Йорка.

Автомашина с помятым боком...

Перед дешевым кафетерием, где сэндвич стоит пятнадцать центов, люди дна...

Морфиинисты и кокаинисты.

Проститутки...

Продавцы порнографических открыток...

После полуночи эта страна принадлежит им. Но Америка дневных иочных гангстеров — не настоящая Америка. Америка — это Эдгар По и Бичер Стоу, Марк Твен и Брет Гарт, Уолт Уитмен и Джек Лондон, Теодор Драйзер, Эрнест Хемингуэй и Ленгстон Хьюз. И еще Джон Рид, Уильям Фостер, трудовая Америка.

Нью-йоркская ночь только началась, когда Восток загорелся красивым светом и наша «Сабена» прилетела в европейское утро.

Георгий Джигладзе

Лео Киачели

Статья вторая

3

Следующим после «Тариэла Голуа» широким эпическим полотном Лео Киачели явился роман «Кровь», в котором нарисованы картины кануна первой империалистической войны. Автор попытался изобразить борьбу против царского режима после революции 1905 года, показать перипетии этой борьбы, обрисовать образы социал-демократов, отразив разногласия и противоречия между меньшевиками и большевиками. Но одним из основных недостатков романа является как раз то, что сюжет его разворачивается не на фоне показа революционной борьбы большевистских организаций, а построен, главным образом, вокруг такой колеблющейся личности, каким является центральный персонаж романа Арчил.

Кто же он такой? Каковы его политические убеждения? Арчил Дадишиани — меньшевик. Роман по существу посвящен изображению именно его идеологии и психологии, его слабовольности и антиреволюционности, а не художественному воплощению непримиримой борьбы подлинно революционных организаций. Но несмотря на этот крупный недостаток замысла и плана книги, целый ряд эпизодов нарисован в ней с большим мастерством, и читатель чувствует убеждающую силу художника, способного живо и рельефно

показать людей, ситуации, характеры.

Революционеры олицетворены в романе в образах Нико и Гогия. Однако трудно согласиться с автором, что некоторые их якобы большевистские черты действительно передают подлинный дух деятельности членов большевистских организаций. Нико бесстрашный, волевой человек, слово его не расходится с делом, но вот дела-то его вряд ли можно всегда признать типичными для большевика. Чрезмерной кажется и его грубость. Во многом близок к Нико и Гогия — узник кутаисской тюрьмы, человек несгибаемой воли, но также олицетворяющий ряд черт, совершенно нетипичных для революционеров и большевиков.

И все же в романе переданы многие характерные признаки эпохи, хотя, как мы уже говорили, сюжет его строится по преимуществу вокруг деятельности или, вернее, бездеятельности Арчила, а также его любви к Цаце Рамадзе. Великолепно описан в романе Кутаиси, колоритная Балахванская улица, кутаисская тюрьма и жизнь заключенных. Одним из центральных эпизодов книги является побег заключенных из кутаисской тюрьмы через знаменный подкоп, подведененный к ней. С неменьшей силой и мастерством показан писателем процесс роста и возмужания юного героя романа — деревенского парнишки Андро Кари-

вадзе, его постепенная подготовка к революционной деятельности. Судьба Андро, описанная Лео Киачели, дает все основания предполагать, что этот юноша, вначале прельщеный заботой и вниманием Арчилы, а затем ставший правой рукой Нико, займет впоследствии достойное место среди тех, кто на деле докажет народу правоту большевистского слова. В романе выведен и круг мелкобуржуазной интеллигенции. Это семья Рамадзе. **Романтически** настроенная, одно время близкая к партии, но затем пережившая духовную драму и «разочаровавшаяся» Цаца Рамадзе — типичный представитель того круга мелкобуржуазной интеллигенции, которая увлекалась революцией в период ее подъема, но отошла от партии в годы реакции и замкнулась в тесной скорлупе узколичных переживаний. Именно такого рода мелкобуржуазная интеллигентность, сдобренная романтическими настроениями, сближает Цацу и Шалву Рамадзе с Арчилом Дадишиани. Шалва же проявляет к последнему прямо отеческую нежность. Параллельная сюжетная линия в романе — описание жизни начальника тюрьмы Мелитона Абландия, его семейного кошмара, самоубийства Вардо — возлюбленной Андро Каривадзе, а затем жены Мелитона.

Большим и главным достоинством романа следует считать то, что пока это **единственная книга**, в которой описывается данный исторический период в Грузии и ставятся проблемы, до этого никем в грузинской художественной прозе не затрагивавшиеся. К этой тематической и проблемной значительности романа надо добавить, что и в нем Лео Киачели предстает перед нами как мастер повествования и тонкий психолог. Тут стоит сказать и о некоторых более частных художественных особенностях романа. Начать хотя бы с пейзажа: он, как и в большинстве других произведений писателя, дается чрезвычайно скрупульно. Центр тяжести Киачели переносит, как правило, на развитие повествования и лепку характеров, в чем и достигает больших высот. Зато весь сюжет «Крови» построен так, что автор не может не уделить особого внимания диалогам на политические и философско-теоретиче-

ские вопросы, которые всегда определяются духовным развитием персонажей, их **столкновениями, взаимоотношениями, конфликтами** или стремлением к «самовыражению». Автор спешит приобщить нас к характерам, настроениям, переживаниям своих персонажей, увлекая при этом читателя не только сюжетной напряженностью, но и **художественной разработкой повествования**.

«Кровь», по всем признакам, следует отнести к жанру социально-политических романов. В нем, как мы уже сказали, много рассуждений, споров, но автору нигде не изменяет чувство меры, он везде верен **характерам**, и поэтому занимательность романа не ослабляется даже там, где речь идет, казалось бы, о малоинтересных предметах, с которыми героям порою приходится иметь дело.

4

У каждого писателя можно найти произведение, в котором полнее всего раскрываются его творческие возможности и сказывается сила его таланта. Если в «Тариэле Голуа» перед нами впервые предстал широкий творческий диапазон Лео Киачели, и мы убедились в его мастерстве, как автора значительного социально-эпического полотна, если, далее, в «Крови» Киачели показал свои возможности в области, так-сказать, «интеллектуального», социально-политического и психологического романа, то подлинных высот социально-бытовой прозы он достиг в третьем своем романе — «Гвади Бигва» — одном из самых высокохудожественных творений всей советской литературы о новой колхозной деревне и ее людях. Если в грузинской прозе у нас имеются замечательные произведения, рисующие **становление колхозного строя, процесс коллективизации, борьбу за колхозы**, то «Гвади Бигва» по сей день остается лучшим нашим романом об уже устоявшемся колхозном быте, который вовлекает в свою орбиту даже самых отсталых, казалось бы, людей грузинского села. Со всей силой проявилось в этом романе высокое мастерство и редкое умение Лео Киачели лепить живые образы, характеры и типы, вести нити увлекательного повествования с исключ-

читательной простотой и естественностью. Не случайно, что книга эта, буквально со дня своего рождения, привлекла внимание читателя, а вскоре стала популярной не только в Грузии, но и во всем Советском Союзе, а также и за его пределами — в странах Европы и Азии. Произведение это окончательно закрепило за Лео Киачели заслуженную славу романиста большого диапазона и высокого мастерства.

Язык «Гвади Бигва» — на редкость живой и легкий. Лаконизм сюжета и стройность композиции романа — поистине завидны. Все события в нем разворачиваются на протяжении всего лишь двух суток, а автору удается в этих ограниченных временных рамках нарисовать живую и яркую картину нового грузинского села, быт колхозников, и что еще существеннее, — переделку и возрождение человеческой психологии, крестьянской натуры, победу новых, добрых сил в жизни народа над силами зла. Весь роман написан так просто и легко, что кажется, будто автор на ваших глазах ведет непринужденную дружескую беседу со своими героями. Дружескую, открытую, но и взыскательную, нeliце- приятную! Как не вспомнить слова Горького о том, что писать нужно просто, будто беседуешь с другом, которого любишь всем сердцем и всей душой, от которого ничего не хочешь скрыть и который сразу все поймет, все оценит.

Как известно, слово является основным материалом литературы, а не ее самоцелью. По горьковскому определению, оно «оформляет все наши впечатления, чувства, мысли. Литература — это искусство пластического выражения посредством слова». В этом отношении к прозе предъявляются даже более категорические требования, чем к поэзии. Тут, несомненно, существует известное отличие и «специфика». Ведь еще Пушкин настаивал на разграничении языка прозы и поэзии. Автор «Евгения Онегина», утверждавший, что литературный и разговорный язык не могут быть тождественны, в тоже время прямо заявлял: «Точность и краткость — вот первые достоинства прозы. Она требует мыслей и мыслей — без них блестящие выраже-

ния ни чему не служат. Стихи дело другое...»

Это действительно так. И эта истина еще раз подтверждается произошедшим Лео Киачели, главными отличительными чертами которой являются простота и точность, истинность и искренность, свойства, о которых Пушкин писал Дурову: «Что касается до слога, то чем он проще, тем будет лучше. Главное: истина, искренность».

Все эти «первейшие достоинства» прозы — точность и лаконизм, насыщенность мыслью, использование слова как основного материала литературы, четкость стиля, истинность и искренность в выражении и изображении — мы находим в творчестве Лео Киачели. Но наиболее полно эти качества проявились в его романе «Гвади Бигва», в котором с поразительной гармонией сочетаются безукоризненная фантазия писателя и его эпическая манера повествования. Именно поэтому этот роман Лео Киачели считается одним из лучших произведений всей советской литературы, изображающих жизнь колхозного села.

Главный герой романа — оркетский крестьянин Гвади Бигва. До революции ничего, кроме горя и несчастья, он не видел. Отсюда его скептицизм. Он не верит, что честным трудом можно достигнуть счастья. Поэтому и удивливает от него. Все его надежды и расчеты опираются на ловкость, хитрость и смекалку. Но и эта ловкость не приносит удачи Гвади, хотя он весьма умен. Это и подчеркивает автор, когда пишет: «Сколько, наверное, было на свете людей мудрее и умнее Соломона — незаметных, несчастных, где-то затерянных, но никто не помнит теперь их имен».

Умный и остроумный, рожденный человеком благородным, Гвади, однако же ^{цено} иском находится во власти старых ^{эпохи} норм и поэтому на все ^{нравы} смотрит с недоверием и искоса. Если колхоз он вступил, но труда все-таки избегает. Вдовец — он должен вырастить пятерых детей. О них все его заботы. Ради них он пойдет на все. Он поистине любящий и заботливый отец. Вот он у них же крадет мандарины, чтобы продать их и на вырученные деньги купить детям обувь. В тот день он не вышел на ра-

боту и хотел увильнуть также и с собрания, на котором оформлялось соцсоревнование с соседями — санарийцами... Читатель с первых же страниц романа с неослабевающим интересом следит за жизнью этого своеобразного человека. Деталь за деталью приковывают к нему внимание читателя. Глубоко запечатлеваются в нашем сознании сцены приготовления Гвади перед уходом на базар, бегство ягненка, встречи в трактире и т. д. Вот вслед за экспозицией завязывается первый сюжетный узел, и возникшее напряжение уже не ослабевает до конца повествования. Как мы уже отмечали, события в романе разворачиваются на протяжении двух суток, и эти два дня производят целый переворот в жизни Гвади. На рынке его надувают; он начинает понимать, что бывший владелец оркетской лесопилки, а теперь ее заведующий — Арчил Пория пытается втянуть его в темные дела и даже сделать его своей правой рукой, кормя пустыми посулами и обещаниями. Гвади Бигва во власти противоречивых чувств: его цепко держит Пория, стараясь вовлечь во вредительство, а Гвади знает, что это грязное, мерзкое, преступное дело. Колхоз же в это время проявляет заботу о нем, обещает помочь в постройке нового дома, вместо старой темной конурки, в которой он жил до сих пор. А на собрании, где оформлялся договор с санарийцами, ему оказали великое доверие, односельчане выбрали его в комиссию по проверке соцсоревнования. Это стало вторым рождением Гвади, он будто весь обновился духовно, почувствовал в себе какую-то новую и неведомую силу. Он увидел свое будущее, ясное, радостное, счастливое. А главное — будущее своих детей. Это ли не осуществление самой заветной его мечты! И вот он первый раз перед детьми надевает свою старую, но не ношенную чоху, опоясывается кинжалом, впервые видит и чувствует себя свободным и раскованным.

Теперь он может пойти и к вдове Мариам для новой исповеди, для открытого объяснения и признания в своих глубоко затаенных чувствах. С большим и проникновенным мастерством написаны писателем эти сцены. В них — и глубокая душев-

ная боль пришибленного и павшего было человека, и весь радостный драматизм его возрождения и взлета. Гвади перед лицом Мариам ~~вновь~~ уже новый человек; его слова, обращенные к ней, — это уже новые, жизнеутверждающие слова человека с будущим.

«Радости хочу, Мариам, счастья... Жизни хочу и любви, Мариам! Твоей любви, твоей ласки и доброты, Мариам! — заговорил Гвади, и ей казалось, что голос его прорывается из глубочайших недр души: в нем слышалось клокотание стихийного чувства, пылавшего, как в горне, в этих недрах. Это была не просьба, это был вопль души. Разве могло сердце Мариам не отзваться на могучий призыв?».

Гвади ищет счастья и находит его в честном труде, в колхозной жизни. Возрожденное чувство собственного достоинства и сознания своей человеческой полноценности дают ему право и возможность бороться и за личное счастье, отстаивать свою любовь. И он побеждает в этой борьбе. Совершенно закономерен и последний поступок Гвади, когда он, узнав о решении Арчила Пория поджечь колхозную лесопилку, готов пожертвовать жизнью ради общего дела и вступает в единоборство с бандитами. Нет, он убил не человека, он уничтожил измену, покончил со злом.

Духовное возрождение Гвади показано в романе с большой убедительностью, подлинным реализмом и всесторонней психологической обоснованностью. Поэтому и символические обобщения в романе имеют глубокий социальный и психологический смысл, передают всю жизненную суть повествования. Такого рода символичность заложена и в последнем, как всегда скромном у Лео Киачели пейзажном штрихе романа:

«Заря вставала. Первый ее луч разорвал пелену тумана и, рассеяв сумрак, золотой дорожкой протянулся у ног Гвади».

Это было после подвига Гвади и это начало его большого счастья.

В романе созданы и образы передовых людей колхозной деревни. Это — секретарь сельской партийной организации Георгий, председатель колхоза Гера, заведующая избой-читальней Элико,

дочь Гочи Саландия — Найя — любимая девушка Геры. Было бы глупо требовать от автора, чтобы он жизнь всех этих персонажей обрисовал так же широко и всесторонне, как и жизнь своего главного героя. При анализе любого произведения, любого романа, нельзя забывать его основной идеи, сюжетной магистрали, нельзя игнорировать авторский замысел и не исходить из него при оценке произведения. Если бы автор уделил больше внимания другим персонажам, он нарушил бы данный свой замысел, приглушил бы основную идею своего произведения. Но в идейно-композиционных рамках своего замысла Лео Киачели мастерски обрисовал и жизнь колхоза и жизнь таких отщепенцев-собственников, как, скажем, Гоча Саландия.

Эта ясность идейного замысла, это большое мастерство изображения и повествования и делают роман «Гвади Бигва» одним из самых выдающихся творений новой грузинской прозы.

5

Прежде чем обратиться к последнему роману Лео Киачели, коснемся вкратце ряда его новелл советского периода. Они уже полностью написаны в плане психологического реализма, без каких-либо следов былых модернистских влияний. В трудном и сложном жанре реалистической новеллы большой беллетристический талант Лео Киачели проявился в полную силу. Достаточно сказать, что к числу лучших произведений всей грузинской литературы принадлежит новелла Киачели «Княжна Майя», в которой с большим мастерством показана и гибель старого мира и утверждение новой жизни в Советской Грузии. Княжна Майя и ее «партнер» Бондо олицетворяют это старое, обреченное на гибель, а самоубийство Майи, гибнущей в волнах Черного моря, — своеобразный символ обреченности старого мира. И напротив, яркий отсвет нового мира лежит на чистой и бескорыстной любви простых крестьян — Дофина и Амбако.

С большой художественной экспрессией нарисовал Лео Киачели в другом своем рассказе — «Аки Адзба» вынужденный заход советского корабля в меньшевистский порт

за продовольствием, революционную непримиримость моряка Кузьмы (прозванного Грязным) и его товарищей по оружию, страх и предательство меньшевистских властей тогдашнего Сухуми. В рассказе показана трагическая судьба простого труженика Аки Адзба, опутанного паутиной предрассудков и ставшего жертвой своей рабской психологии (Адзба жертвует собой ради молочного брата — реакционера князя Уджуша Эмха). Несмотря на ряд спорных моментов, рассказ этот читается с неослабевающим интересом, а слова Кузьмы, сказанные по поводу смерти Аки Адзбы — «все равно из этого раба не вышел бы человек», — звучат как точный диагноз и приговор всему старому и уходящему, всему, что кровно связано с отжившей свой век эпохой, канувшей в небытие.

В киачелевских рассказах военных лет — «Отец и сын», «Брат и сестра» ярко и правдиво были нарисованы фронтовые эпизоды; в них мы вновь ощутили зоркий глаз художника-реалиста, были пленены мастерством сюжетного построения. Вряд ли можно найти что-либо новое по сравнению с известными нам фантастическими новеллами писателя в «Тайне Хетиани». Этим рассказом и завершается, по-видимому, старая линия в творчестве Лео Киачели.

6

Особое место в творчестве Лео Киачели и по тематическому материалу, и по манере письма занимает роман «Человек Гор», вышедший отдельной книгой в 1948 году, а до этого публиковавшийся из комара в номере в газете «Коммунисти» и в журнале «Мнатоби». Как видим, роман со дня своего появления привлек к себе самое пристальное внимание и вызвал большой интерес. Это и неудивительно: ведь не так давно отгремели последние залпы Великой Отечественной войны, не одна семья ждала еще возвращения отвоевавших воинов, а книга Киачели говорила читателю как раз о том, чем он жил все эти годы — о судьбе Родины, о подвиге ее защитников. В «Человеке Гор» эпизоды войны разворачивались на фоне грузинской, в частности, абхазской действительнос-

ти. Но так же, как и сама война носила повсюду всенародный и всеобщий характер, так и роман советского писателя, ограниченный сюжетными рамками и связанный с изображением небольшого участка всенародной борьбы (районы Соу-Сухуми и Ачавчара-Санчаро), не мог быть ограниченным по своим внутренним, духовным «рамкам», не мог не выразить того, что чувствовала и переживала, о чем думала и размышляла в те грозные дни вся страна, превращенная в единый боевой лагерь. Маленькая деревушка Соу не стала исключением, и патриотический подвиг ее жителей был частичкой беспримерного и бессмертного подвига 200-миллионного советского народа.

«Человек Гор» — роман эпический, и, согласно требованиям этого жанра, он масштабен и по обрисовке исторического фона и по изображению человеческих характеров. С точки зрения фабульного материала масштабность эта приходится на события самой войны, они определяют основную тенденцию романа, они создают в нем впечатление грандиозности совершающегося. Интересы войны определяют и жизнь действующих лиц произведения, являясь движущей силой сюжетного развития. Таким образом в данном случае не развитие характеров движет сюжетом, а волны всемирно исторических событий, докатившиеся до Соу, как бы расходятся кругами по страницам романа, создавая эпический фон не для развития, а для раскрытия эпических характеров, которые находятся в центре повествования. Живое изображение и раскрытие этих характеров, создание ярких портретов — внешних и духовных — вот основная задача, стоявшая перед писателем, и как раз в умелом сочетании изображения исторических событий военной эпохи и психологического мира ее участников — главная художественная удача Лео Киачели.

В первую очередь автор должен был обрисовать образ своего центрального ведущего персонажа — Бату Карду, прозванного односельчанами Человеком Гор. Это поистине эпический герой, и весь свой художественный арсенал, всю свою палитру автор расходует на воплощение и воссоздание этого образа.

Кто же такой этот Бату Карду? Он сын мегрельского крестьянина из деревни Лакада — сообщает нам автор. Но этот простой труженик так колоритен и интересен, что даже внешность его не передать одной, хотя бы и меткой, фразой. Писатель рисует портрет героя на нескольких страницах, но и это описание дает нам лишь предчувствие тех духовных богатств, которые он таит в себе. Вот некоторые черты этого портрета и ряд биографических моментов, которые сообщает нам автор, давая «экспозицию» судьбы своего героя.

Рано осиротевшего мальчика взяли на воспитание дальние родственники, известные по всему краю пастухи-животноводы. Способный и смуглый юноша скоро заслужил доверие и уважение сородичей, и ему доверили самостоятельно пасти стада как в горах Бзыбского хребта, так и по ту сторону Ачавчарского перевала, в окрестностях Сочи и на пастбищах Кубани. Перегоняя стада по долинам и горным эйлагам, Бату Карду приобрел не только большой опыт, но и многих друзей по обе стороны Кавказского хребта. «Он свободно говорил на языках всех тех народностей, с которыми ему приходилось общаться». Вскоре он стал хозяином собственного стада, обзавелся семьей, а достигнув среднего возраста, прочно утвердил за собой свое необычное прозвище — дань любви и восхищения со стороны земляков, видевших в нем олицетворение лучших качеств горца — доблести, мужества, трудолюбия и неизменной учтивости. Он и внешностью своей оправдывал почетное прозвище Человека Гор: «Бату Карду был человек высокого роста и могучего сложения, с гордой, полной достоинства осанкой. Обветренное и обожженное горным солнцем лицо его с большими умными глазами и орлиным носом всегда казалось невозмутимо спокойным. Короткая, волнистая черная борода была кое-где тронута сединой. Густые, рано поседевшие волосы, выющиеся, как серебристый каракуль, служили ему единственным головным убором в летний зной и в зимнюю стужу». Но и этот портрет не был бы полным, если бы автор не добавил новый не-

обходимый штрих: «Несмотря на свои немалые годы, Бату Кардуа был еще по-юношески силен и гибок. Он ходил в черкеске, стройно охватывавшей его прямой, узкий в поясе стан и широкие плечи. Каждое движение этих могучих плеч, каждый шаг старого горца выдавали незаурядную силу, невольно внушающую окружающим почтение и даже робость». И из этого описания уже не трудно догадаться, какими именно качествами заслужил прославленный пастух и скотовод свое поистине эпическое прозвище.

Обосновавшись в Соу вместе со своей семьей, Бату Кардуа вступает в колхоз, свободное время посвящает охоте, живо интересуется жизнью всей страны и событиями, происходящими во всем мире. В курсе их его держат сначала сын, а когда он стал студентом Сухумского пединститута, молодой пастух Мануча — крестник и воспитанник Бату, грамотей и книголюб, с малых лет обслуживающий старика «по письменной части». Этот Мануча тоже весьма любопытная личность — он заметно выделялся среди односельчан как своей необычной внешностью, так и всем своим душевным складом: «Это был низкорослый, тщедушный человек, настолько сутулый, что мог бы показаться горбуном. Узкое, заостренное лицо его густо заросло темными волосами и если бы не большие, доверчивые глаза, светившиеся умом и добротой, его можно было бы принять с первого взгляда за какого-то мохнатого лесного зверька». Под стать его доброте непоколебимая честность и жажда знаний книголюба-самоучки: «Где бы ни находился, чем бы ни был занят Мануча, он никогда не расставался с книгой. И если в одной половине его дорожной сумки лежали обычно хлеб и сыр — скромный дорожный обед пастуха, — то другая всегда была туго набита книгами». Так описывает автор второго своего героя, и мы ясно представляем себе весь облик этого незаурядного крестьянина, который лишь в условиях советской действительности мог стать уважаемым на селе человеком. Отличный животновод и передовой общественник, увлеченный руководитель кружка политграмоты на ферме — Мануча поль-

зовался в колхозе всеобщей любовью.

Взаимоотношения Манучи и Бату Кардуа — поистине образец чистой, бескорыстной дружбы и духовного единения. Человек Гор для Манучи — образец поведения, идеал подлинной человечности и высокой нравственности. Беспредельна благодарность его к своему воспитателю. Она сказывается во всем, в каждом его действии. Здесь еще рано говорить о героическом поступке Манучи, описанном в finale романа, скажем лишь, что Мануча был в свою очередь, первым учителем и наставником сына Человека Гор — Джото, вполне оправдавшим заботы отца и своего старшего названного брата: успешно окончив институт, он становится одним из лучших активистов областной организации Ленинского комсомола.

Как мы уже сказали, Мануча постоянно посвящал старика Бату во все события международной жизни — читал ему книги, журналы и газеты, выписанные или присланные из Сухуми Джото. Но одним лишь чтением не ограничилась «культуртрегерская» миссия Манучи — ему приходилось отвечать на многочисленные пытливые вопросы старика, имеющего свои собственные суждения по многим вопросам. Споры друзей часто бывали довольно жаркими: «И сына, и воспитанника своего старик уважал, как людей «ученых», но это не мешало ему расходиться с ними во мнениях по многим предметам и даже вступать с молодыми людьми в ожесточенные споры, которые он, кстати, очень любил». Благодаря этим чтениям, беседам и спорам, духовный горизонт Бату Кардуа постоянно расширялся. Особенно же увлекался он двумя предметами, «столь же далекими друг от друга, как небо и земля, — политикой и астрономией. Каковы ближайшие задачи, стоящие перед Советским Союзом в области внутренней политики? Как складываются его взаимоотношения с другими государствами? Что представляет собой Вселенная и, в особенности, Земля, на которой мы живем? Вот вопросы, которые больше всего занимали старого горца».

Таковы основные черты портрета Бату Кардуа. Мы видим, что герой

Киачели человек весьма своеобразного облика, с известным налетом экзотики и романтичности. Это чувствуется с первых же страниц романа. Вот шестидесятилетний Бату Кардуа идет горной тропкой к ферме и пытается вспомнить сон, который видел накануне. Старик задумался, а перед ним открывается фантастическая картина — звонкая красота Кавказского хребта, освещенного заревом предзакатного солнца. Действительность это или сказочное чудо природы? Сон или явь? А быть может, — ни то, ни другое, а то редкое чувство, которое способно вызывать из таинственных недр натуры причудливые видения, создавать фантастические сплетения воображаемого с изображением, предчувствия с чувствованием? Старому горцу, казалось, вначале вовсе не было дела до величавых картин природы. Но скоро игра света и тени, вызванная приближением вечера, все эти многоцветные метаморфозы окружающих гор невольно привлекли его внимание, а потом и целиком поглотили, приворожили, приковали к себе все существо Человека Гор. Всмотримся и мы его глазами в эту незабываемую картину:

«Солнце уже опустилось за горы, высившиеся на юге: прозрачная вечерняя тень, наполнила глубокую седловину Ачавчарского перевала. Последние лучи, скользнув по зубчатому краю гор, взвились потоками света в воздух, в безбрежную синеву, чтобы, протянувшись миллионами серебристых нитей, достигнуть последнего своего убежища и зажечь вечерним огнем безмолвные вершины Главного Кавказского хребта.

Лучи эти, словно побежденные в схватке с пространством, рассыпались на мельчайшие брызги, и осколки их усеяли пройденный путь, оставив на небе широкую, мерцающую, светлую полосу. Сверкающая световая пыль клубилась внутри нее многоцветными струями и низвергалась потоками на землю, чтобы вступить в последний бой с ночными тенями, таившимися, точно войско в засаде, в глухих расщелинах.

И небо, и земля затихли в ожидании близкого столкновения дня и ночи, охваченные трепетом перед зрелищем этой битвы не на жизнь, а на смерть.

День укрылся под самым небом среди взметнувшихся ввысь снежных вершин и оттуда наносил удары; размахи его огненного меча рассекали пространство от края до края, но не могли преградить путь сумеркам, надвигавшимся со всех сторон.

Он глядел на битву дня с ночью, и картина этой вечерней борьбы среди гор казалась ему не менее прекрасной, чем победное зрелище восхода солнца.

Ни один, даже самый слабый, шорох над головой или под ногами не проходил мимо его слуха, ни один перелив цвета вблизи или вдали не ускользал от его взгляда.

Ничто не заставляло его спешить к стоянке. Не торопясь, мерным шагом он шел к палаткам пастухов.

Вдруг он увидел, как дальний край луга, откуда открывался особенно величественный вид на снежные вершины Главного Кавказского хребта, внезапно зарделся, словно охваченный пламенем.

Не успел он разобраться в этом необычайном явлении, как налетевший со стороны хребта огненный ураган сначала поглотил это место, а затем, сметая все на пути, распространился по всему лугу — словно по нему проскакал целый табун сказочных красных коней.

Бату бросил взгляд в сторону Кавказских гор и пришел в неописуемое изумление. Гребень Кавказского хребта на всем своем протяжении пылал, охваченный пожаром. Пламя было так ярко, что на мгновение ослепило старика. Все это скорее походило на чудо, нежели на действительность. И старый горец, многое видавший на своем веку, не верил глазам.

Все небо, из края в край, до самых сокровенных своих глубин, было озарено отсветами огня. Необозримые пространства сверкали, охваченные пламенем, и клубились вихрями пылающих искр. В воздухе летали огромные огненокрылые головни, которые с оглушительным грохотом ударялись о склоны ближайших гор, рассыпались огнем над лесами, жившими к их подножиям, и, со свистом прорезая пространство, исчезали в бездне. А оттуда поднималась тьма, и огромные, мрачные тени то наступали на землю, то снова отступали в свое сбиталище.

Сомнение закралось в душу изумленного Бату.

«Не мерещится ли мне все это?» — подумал он и провел ладонью по глазам. Когда же он снова обвел взглядом вокруг себя, еще более странная картина открылась ему: необычайные огненные образы и тени причудливых очертаний, которые рисовались ему в пламени над горами, показались знакомыми, уже однажды виденными. Ему почудилось, что среди них он различает Джондо, крылатого, как сказочный конь. А в горящих головнях, которые летали в багряном зареве, он увидел вдруг мечущие огонь самолеты.

Должно быть то, что творилось в природе по обычным ее законам в этот час величественного горного заката, старый Бату под влиянием своих дум дополнил воображением и спутал с чем-то уже знакомым — то ли слышанным, то ли пригрезившимся ему.

Быть может, эти рассказы о воздушных боях, которые читал ему Манучи, всплыли из глубины его сознания и породили эти причудливые картины?

Недвижно, словно окаменев от изумления, стоял Бату и взглядался в закат. Потом внезапно, словно его толкнули, шагнул вперед к обрыву. Ему почудилось, что в одном из огненных самолетов он видит своего сына; окруженный ярким сиянием, словно ореолом, Джото смело рассекал пламя пожара.

Мысли старого Бату внезапно прояснились. Он понял, что величественное зрелище заката воскресило в его сознании образы вчерашнего сна».

Мы сознательно привели этот большой отрывок из романа. И не только потому, что видим в нем яркий образец живописного мастерства писателя, но, главное, потому, что **психологическое наполнение** этого пейзажа говорит об интереснейшем использовании автором своих былых приемов из фантастических новелл декадентского периода, приемов, полностью переосмысленных, освобожденных от каких бы то ни было следов мистики, приближенных к реализму, вернее, взятых реализмом на свое вооружение. Это тонкое ис-

пользование подсознательного, сознательное его применение в реалистически оправданной ситуации и в реалистически обоснованной ^{психологической} атмосфере, порожденной данным состоянием данного человека (не забудем, что Бату Кардуа, человек, воспитанный на старых традициях и представлениях!) — все это говорит не только о мастерстве Лео Киачели, но и о широчайших возможностях реалистического метода, о его внутренней емкости, о его потенциальной способности впитать в себя элементы даже «антиреалистических» стилей — переработанных, переосмысленных, подчиненных большой человеческой правде, нужной художнику, искомой и найденной им. Это лишний раз говорит о том, что ни один прием сам по себе не может быть хорошим или дурным, реалистическим или нереалистическим — все зависит от позиции художника, от сверхзадачи его творения, от общего художественного метода, применяемого им.

...Как раз в этот день Человек Гор узнает от Манучи, что фашистская Германия напала на Советский Союз и что началась война. Бату Кардуа присутствует и на митинге, где Бубут Ашба зачитывает заявление Советского правительства. От Ашбы узнает он, что сын его, не дожидаясь призыва, идет добровольцем на фронт. Возможно, он успеет заехать из Сухуми в Соу, чтобы проститься с родными. Нужно спешить обратно в Соу. Скупые реплики Человека Гор в его разговоре с Ашбой («Дурные вести ты принес нам, Бубути!..» «вероломство и измена должны потерпеть поражение», «пусть и теперь, как всегда, победит наш народ, сынок!») рисуют нам его как подлинного патриота, преданного сына своей Родины, прекрасно сознавшего, что испытания войны — это и его испытания, а опасность, нависшая над Родиной, грозит и его очагу, что вне счастья и победы Родины нет счастья ни ему, ни его сыну.

В Соу Бату узнает, что Джото туда не заезжал. Не находит он сына и в Сухуми. Здесь, на встрече с комсомольской молодежью, Человек Гор выступает с проникновенной патриотической речью. Слова старика звучат искренне и убежденно. Этого, к сожалению, нельзя сказать о выступ-

лении представителя молодежи, речь которого — образец риторики, лишенной непосредственности, а значит, и художественной убедительности. Но, повторяю, и слова, и поведение самого Человека Гор в этой сцене — образец художественной правды и большая удача писателя. В силу этого сцена встречи Человека Гор с комсомольцами справедливо считается одним из лучших эпизодов романа.

Но вот встреча с молодежью позади, и дальше автор рассказывает о той радости, с которой восприняли жители Соу весть о героизме своего односельчанина Джото на фронте. Награда, полученная сыном Человека Гор — это их награда. Безгранична и радость старого Бату, когда он узнает, что сыну его присвоено звание Героя Советского Союза.

Раз уж речь зашла о Джото, скажем вкратце и об этом персонаже романа, который действует в нем, если можно так выразиться, «заочно», нигде непосредственно не изображается, но все же является одним из главных действующих лиц повествования. Этот прием давно известен в литературе. Еще с античных времен прибегали к нему большие писатели — поэты и драматурги, добивавшиеся полного художественного эффекта без непосредственного изображения героя.

О Джото мы знаем лишь то, что в первый же день войны он добровольцем ушел на фронт с мыслью стать летчиком. Остальное нам становится известным лишь от «третьих лиц», по их рассказам и в их передаче. Но сведения эти настолько значительны, а главное, столь красноречивы, что читатель ясно представляет себе облик этого человека, знает, какой у него характер, на что он способен и что он совершил во имя Родины. Чистый и правдивый юноша, один из лучших среди своих сверстников, воспитанник комсомола и достойный сын своего отца, пламенный патриот и бесстрашный воин, человек сильной воли и ясных целей в жизни, трезвого взгляда и светлой мечты, доброволец-романтик, закалившийся в первых же испытаниях войны, лейтенант авиации, прославивший свое имя и свое Соу — таков Джото, сын Человека Гор. Неудиви-

тельно, что родное село многолюдным митингом отметило присвоение ему высшей воинской награды. Портрет этого персонажа дополняют и не большие «форгешхте», «отступления в прошлое», разбросанные по страницам романа. Достаточно для примера вспомнить одну довоенную сценку — выступление Джото на сельском празднике: «Джото выступил на собрании и произнес не только умную, но и красивую речь. Старик гордился сыном и был благодарен ему. Отдав должное прекрасной породе скота, выведенного в его родных местах, Джото рассказал о людях, которые из поколения в поколение трудились, не жалея сил, чтобы вывести эту породу. Он назвал имена животноводов, начавших некогда это большое, поистине народное дело, не забыл и о тех, кто продолжал его теперь. Пропустил он только одно имя — имя отца, от которого он и слышал обо всем, что рассказал собранию... Вероятно, скромность не позволила ему назвать фамилию Кардуа, так как он и сам носил ее... Старик это понял и простил сыну забвение своих заслуг... О нем, о Бату Кардуа, в сущности, и не было нужды говорить особо. Кто во всем kraе не знал его?»

Джото избрал себе подругой Лию — дочь Иулона Гарсия — сухумского приятеля своего отца, такого же, как и он, чистого и ясного человека. Большой и светлой любовью любят друг друга молодые люди. Это подлинное родство душ и влечение сердец, общность взглядов и мироощущения, единство стремлений и целей. Оба они прекрасно сознают, что любовь отнюдь не «пестрый мячик», которым приятно и легко поиграть, а драгоценный дар, вся ценность и красота которого зависят только от них самих, от их способности творить свое счастье. И в этом — тоже примета нашего времени, когда каждый человек имеет полную возможность до конца раскрыть и проявить все свои способности и использовать всю свою духовную энергию на благо Родины, а следовательно, и на счастье себе. Эта нравственная философия органически свойственна и Джото Кардуа и его невесте, и именно поэтому так бережно относятся они к своему чувству, до конца сознавая всю меру

ответственности, которую накладывает на них любовь. Нельзя не согласиться с автором, который видит в своей героине олицетворение лучших черт советской девушки, комсомолки-патриотки, готовой отдать свою жизнь за Родину, за счастье своего народа, исполнить свой высший долг перед социалистическим Отечеством.

В галерее ярких образов советских людей, пламенных патриотов Родины, созданной Лео Киачели, особое место занимает Кирилл Гораков — кубанский казак, участник гражданской войны на Северном Кавказе, старый партизан, женившийся на девушке из Соу и обосновавшийся на родине своей жены, один из лучших животноводов и птицеводов края. Кирилл Гораков становится основателем первого колхоза в Соу, завоевывает большой авторитет среди односельчан как инициатор и организатор многих полезных и передовых начинаний, неутомимый труженик и преданный сын партии, человек бесстрашный и предусмотрительный, самоотверженный и скромный, умный и бескорыстный. Таким видит читатель Кирилла Горакова на протяжении всего романа. Каждое его появление, каждое слово и реплика, каждый жест и взгляд выписаны так четко и ярко, так естественно, что забыть этот образ уже невозможно (в этом отношении особенно выделяется сцена беседы Кирилла с Человеком Гор в доме у последнего).

Наряду с образами патриотов и честных тружеников, автор рисует в романе и людей иного толка. Вот заведующий колхозной фермой изменник Самсон, который отдал в руки врага колхозное стадо, выдал Манучу и совершил многие другие преступления. Автор к нему беспощаден, и персонаж этот нарисован так, что читатель чувствует к нему не только ненависть, но и презрение, гадливость. Его поведение в первые же дни войны, его подозрительная всполошенность и невольно вырвавшиеся слова, настораживающие односельчан, сразу рисуют нам Самсона как человека, по крайней мере, слабого и безвольного, всегда плывущего по течению, беспринципного, готового пожертвовать всем ради личного благополучия. Таков психологи-

ческий портрет изменника и предателя. Таким предстает Самсон и перед Человеком Гор, попавшим в плен к немцам: «...перед ним стоял Самсон, заведующий Ачавчарской фермой: грузный, рыжий, одетый в военную форму неизвестного образца и вооруженный с ног до головы. Бату вскочил и устремил взгляд на пришельца. Самсон был не меньше удивлен неожиданной встречей. В течение некоторого времени оба стояли друг против друга не произнося ни слова...

— Не удивляйся тому, что видишь! Не думай, что я изменник... Медведь подмял меня, и я назвал его батькой. Ты спросишь, почему я не разделил участь бедного Манучи?.. Нас захватили неожиданно... Мануча не хотел сдаваться... ушел в лес и многих увел за собой. Что могла сделать горсточка людей? Все погибли, не продержавшись и нескольких часов!.. Если бы Мануча послушался меня, был бы жив и сейчас! — Самсон помолчал немного и продолжал: — Одну службу я тебе сослужил, Бату, и надеюсь, ты ее оценишь, — лошадь твою спас, оставил при себе...

Убедившись, что Бату не собирается отвечать, Самсон замолчал, а через минуту продолжал таинственным шепотом:

— Они, по-видимому, еще не знают, кто ты такой. Гм... Что ты скажешь насчет того, чтобы назвать медведя батькой, если потребуется? Согласен?

Но старый горец и на этот раз ничего не ответил. Только цепь, связывающая его наручники, звякнула за его спиной, будто старик пытался ее разорвать.

— Что я слышу! — испуганно воскликнул Самсон. — Неужели на тебя надели наручники? Почему ты молчал? Подожди немного... Это-то я устрою в два счета... Оковы с тебя снимут! — и он быстро удалился, не забыв, впрочем, запереть дверь на замок.

Бату не пошевелился, он стоял в темноте и молчал».

Два человека, два контрастных психологических портрета, два мира.

Попав в беду, Бату ни на мгновение не отказывался от мысли вырваться из плена. Хотя руки его бы-

ли скованы, в душе он твердо решил бежать этой же ночью, «даже если бы ему пришлось прогрызть стену своей тюрьмы зубами», а когда с него сняли наручники, твердое, но неясное намерение его сразу же приняло более определенные очертания. Узнав же от Самсона, что его отправят завтра в Соу вместе с очередной партией быков, он решил бежать по дороге. И он добился своего: бежал, вскочив на своего любимого коня и чудом избежав пулю, посланных ему вдогонку изменником Самсоном. Далее в романе ничего уже не говорит о Самсоне, читатель не знает, постигла ли его заслуженная кара за тягчайшее преступление — измену Родине. Автор, к сожалению, упустил из виду этот момент. Если еще можно объяснить действия Человека Гор при бегстве, когда он просто не смог покончить с Самсоном (хотя совершенно непонятна реплика Бату, обращенная к этому мерзавцу: «если ты так любишь жизнь, спасайся, беги, несчастный!»), то уж никак нельзя понять, почему изменник должен был остаться ненаказанным хотя бы в финале романа?! Нам это кажется одним из серьезных упущений автора.

Роман во многом выиграл бы, если бы автор шире показал руководящую роль партийной организации в годы войны. Можно лишь пожалеть и о том, что с недостаточной широтой показан в романе героический труд колхозников в помощь фронту. Автор все свое внимание сосредоточил на военных мероприятиях, хорошо показал борьбу с диверсантами, помочь, которую offered Мануча трем советским воинам — Ване, Феде и Степе; приход лейтенанта в Соу, его встречу с руководителем отряда Кириллом Гораковым и с председателем сельсовета Маци Зурабая. Но, как мы уже сказали, роман только выиграл бы, если бы в нем так же убедительно были изображены трудовые подвиги колхозников. Мы уже приближаемся к финалу романа, но прежде хочется вкратце сказать о том ответственном задании, которое было возложено командованием накануне освобождения Соу от немцев, на Человека Гор, вызванного в Сухуми. Весь этот эпизод — и описание Сухуми военных лет, за-

темненных улиц ночного города, приход Бату в штаб и получение им задания — оставляет сильное впечатление.

Вот Бату Кардуа в штабе, и его, как лучшего знатока окрестных гор, просят стать проводником советских войск, получивших задание освободить Соу. Человек Гор должен провести наши войска по Бзыбскому ущелью. Выслушав эту просьбу, Бату Кардуа отвечает:

«Доверие ваше дорого мне... что может быть желаннее для старика, чем возможность сражаться рядом с родным сыном? Если вы считаете меня достойным такой чести, такого доверия, то используйте меня так, как этого требует счастье нашей Родины! Я готов!» — слова Бату звучали торжественно; так же торжественны были все жесты и вся его осанка. И тем не менее он держался в эту минуту просто и непринужденно. Как раз в этом гармоническом сочетании торжественности и непринужденной простоты — характернейшая особенность натуры Человека Гор, ведь, если можно так выразиться, «стиль» его жизни и строй его души.

Патриотизм Человека Гор очень ярко сказывается во всем его поведении на протяжении всего романа. Преданность Родине звучит и в словах старика, обращенных к неразлучному с ним — его воспитаннику Мануче в особо тяжелый для Родины час!

«Ну, смотри, Мануче, будь молодцом! — говорил он пастуху. — Трудные дни настали для нас, жителей Соу. Никак не думал я, что война доберется через эти неприступные горы до нашей деревни... Кто мог подумать, что враг придет в наши леса? Возможно, что нас ждут тяжкие испытания... А может быть, все обойдется... Так-то, мой Мануче. Будь же предусмотрителен. Никогда не надо мешкать, но не следует и торопиться — то и другое одинаково плохо... Правильный путь в жизни не так легко найти! Ничего я не могу тебе сказать, кроме того, что уже сказал: смотри, не оплошай! Опасность — неразлучная наша спутница в жизни. В борьбе с нею чутье помогает человеку не меньше, чем разум... А иногда и больше, потому

что при неожиданной опасности нужно действовать быстро, раньше, чем разум успеет вынести свое суждение. Пусть же счастье благоприятствует тебе, сынок... Повторяю: не разлучайся с Джондо; хоть он и бессловесное животное, но ты можешь рассчитывать на него, как на самого верного друга. Если я буду жив, то в опасности не оставлю тебя! Отыщу, приду на помощь».

Свое последнее слово Человек Гор не смог сдержать, он не пришел на помощь Мануче, так как сам попал в беду. Но он с честью выполнил свой долг и перед Родиной, и перед сыном, и перед воспитанником. Он пал смертельно раненный, когда уже выполнил боевое задание. Теперь он мог полнее отдаваться своему личному горю. Вот он лежит у подножия горы, борется со смертью, и до него доносятся ликующие голоса победителей; они придают ему силы, будят в нем желание «отозваться, разорвать эти тесные, сдавившие тело обручи и ответить таким же громовым и воисторженным кличем». В этом далеком победном приветствии старику почудился голос Кирилла Горакова. Радость охватила Человека Гор, слезы обожгли глаза, но он не мог поднять веки, склеенные запекшейся кровью. «Он попытался поднять левую руку, но пальцы на ней висли безжизненно, словно переломленные сучки». Он сделал последнее усилие — пошевелил пальцами, чтобы они ожили, потом потянулся к глазам — разнять слипшиеся веки; ресницы разомкнулись, слезы потекли по лицу. Он почувствовал облегчение. «Теперь он мог взглянуть на землю, которую так любил, но мир представал перед ним лишенным прелести, затянутым сумеречной пеленой. Бату было неприятно на него смотреть». Вот до него донесся протяжный стон. Он звучал где-то близко. Старик вслушался и понял, что это не стон, а песня, до боли знакомая песня раненого абхазского воина. И вдруг он узнал поющего — «Это Маци Зурабайя!?» — воскликнул Бату в душе. Но он был бессилен помочь раненому товарищу. Вот он шевельнул правой рукой, потянулся к навалившемуся на него дереву... «Нет, это не дерево. Что же это такое?» — подумал он. Коснулся еще

раз, стал ощупывать, насколько доставала рука...

Что это, похожее на шелковистые нити под его пальцами? Наверное,сыпалась сухая хвоя...

«Нет, как будто не то...»

Страшное подозрение вдруг мелькнуло в его мозгу:

«Не человек ли это?»

Бату приподнял голову, чтобы взглянуть, проверить ужасную догадку.

Неподвижная женская рука снимала флягу. Раскрытая сумка с изображенным на ней красным крестом валялась на земле. Это была Лия, подруга его Джото. Последний нечеловеческий крик отнял у старика последние силы. В глазах у него потемнело. Он прошептал имя сына и в ту же минуту увидел, да, увидел над собой высоко в небе самолет. Глаза его были все еще закрыты, а он ясно видел машину. «У него было теперь другое, внутреннее зрение — острое и сильное, как никогда».

Что это было за «внутреннее зрение»? Родительское чувство, способное отыскать сына везде и всюду? Может быть, именно это чувство заставило увидеть ослепшего старика самолет, пилотируемый сыном? Или это мысль о Родине снова вдохнула в него жизнь? Может быть, это был последний проблеск надежды, мелькнувшей в образе сына?! Последнее видение того, чего жаждал видеть теперь, в смертный час, чем хотел бы увенчать всю свою долгую и большую жизнь?!

Нет, это было не первое, не второе и не третье — это было и то, и другое, и третье — все вместе, это было все то, чем жил Человек Гор, что придало ему и эти последние силы, что сообщило ему и это последнее прозрение!

И такова была эта невидимая и великая сила, что умирающий стариk даже вступил в беседу со своим сыном. Правда, слова не отделялись от его губ, но умирающему казалось, что бесстрашный летчик все же слышит его на небесах. «Лечу, отец! Еще одно мгновение... Потерпи еще только одну секунду!» — чудился ему ответный зов сына. И вот пришла и эта секунда. Самолет, словно сказочный, мечущий искры крылатый конь, легко опустился на землю. Тотчас

же соскочил с него небесный всадник.

Неужели глаза обманывают старого Бату, и ему только чудится, что перед ним стоит настоящий Джото?.. Но ведь это он сам, он — Бату Кардуда, каким он был в юности. Это его лицо... Тот же рост и та же гордая осанка... Ведь и он любил летать на коне, и в груди его билось бесстрашное сердце!..

И вот последние неслышные слова старика: «Прости меня за то, что я позвал тебя, Джото!.. Заставил леть в такую даль... Ничего особенного не случилось, сынок... Стар я стал, Джото, сердце утратило былую силу. Не стану таиться: испугала меня смерть, Джото... Не о своей смерти я говорю... Ради себя я не стал бы тебя тревожить. Мне почудилось, что Лиу отняли у нас... Но мне, конечно, показалось... Жива твоя Лиу, Джото, не бойся! Только ранило ее в бою... Возьмем ее с собой, но есть у меня еще одна просьба к тебе. Здесь где-то... совсем близко... если оглянешься вокруг, увидишь... лежит раненый Маци Зурбайя, твой друг и храбрый воин. Как он радовался твоей награде... С минуту назад он был еще жив. Надо помочь и ему, Джото!

— Поможем и Маци, отец!

— Да... тут много еще пронзенных, как я, вражеской пулей... наших... братьев, сыновей, друзей... людей... я слышал их стоны, сынок... Наши воины еще сражаются с врагом... они не могут пока заняться ранеными... Нужно помочь всем, пока наши бойцы вернутся с победой... Раз уж ты здесь, сынок...

— Да, да, отец, поможем всем!

— Еще скажу, сынок... Великим героем оказался наш Манучар! Он и сейчас висит на дереве, там, на Ачавчаре... Твой долг, Джото, снять его, оплакать и похоронить с большим почетом, как того требует грузинский обычай. Манучар достоин этого.

— О мой Манучар!

— Когда будешь на Ачавчаре... Там, по дороге в Соу, есть маленькая лощина... В ней лежит Джондо, убитый вражеской пулей, позабытый... Он отдал жизнь за своего отца... Взгляни на него и хотя бы помяни добрым словом...

— Слышу, отец!

— А когда исполнишь все мои просьбы, потом, после всех, приди ко мне. Много я не прошу, Джото! Отвези меня в Лакаду, туда, где могилы моих предков. В Лакаду, к твоей матери, Джото... Если мне суждено жить, кто исцелит меня, кроме твоей матери?..

И старик услышал и ответ сына, и рокот мотора готового отлететь самолета... Человек Гор еще раз открыл свои внутренние глаза, словно выведененный из забытья этим шумом.

Победные знамена развевались над ним. Знакомые лица окружали его. Он слышал, как друзья повторяли его имя.

Бату взгляделся.

Впереди стоял Кирилл Гораков. На лице у него виднелись кровавые следы. Он стоял, опустив голову, и из маленьких светлых глаз его струились слезы.

За Гораковым теснилась молодежь. Впереди — Вахтанг, Бата и Реджиб.

Увидев, что Бату открыл глаза, они радостно закричали:

— Да здравствует Человек Гор! — и окружили его тесным кольцом.

Недвижное лицо старого Бату засветилось улыбкой... В безжизненных глазах вспыхнул свет.

Он всматривался в лица склонившихся над ним друзей. Беспокойно и жадно водил он глазами по рядам, словно искал среди них кого-то и не мог найти.

Вдруг свет в его глазах погас. Отяжелевшие веки опустились.

Еле слышный вздох сорвался с его губ.

Это было его последнее дыхание».

Этими словами и этой картиной заканчивается роман «Человек Гор».

Это последнее произведение Лео Кначели мы считаем значительным достижением грузинской художественной прозы, явлением, которое не может не сыграть положительную роль в развитии нашей литературы. Писатель в этом романе поставил целый ряд интересных и злободневных для нашей литературы вопросов, дал обобщение многим фактам и явлениям, впервые показал нам под этим углом и с этой точки зрения многие знакомые нам и пережитые нами события. Среди произведений,

посвященных героической обороне Кавказа, роман Киачели до сих пор выделяется своей художественной убедительностью и, я бы сказал, вдохновенностью. Ничуть не преувеличивая, можно сказать, что пока в нашей прозе нет лучшего произведения на эту тему. Такие произведения, несомненно, будут созданы, появится и обширный эпический роман, в грандиозных художественных масштабах раскрывающий перед читателем героизм защитников Кавказа на фоне суровой и величественной кавказской природы. Но это дело будущего. И какие бы недостатки ни обнаружили мы в романе Лео Киачели, он всегда останется первым талантливым словом нашей литературы об обороне Кавказа.

В заключение особо хочется отметить, что в «Человеке Гор», так же, как и во многих других произведениях Лео Киачели, можно проследить ряд автобиографических моментов. В первую очередь мы имеем в виду образ главного героя романа — самого Бату Кардуа. Непосредственный источник многих нюансов этого образа мы могли бы найти только в биографии самого автора.

* * *

Большой и славный путь пройден выдающимся грузинским писателем Лео Киачели. Путь трудных поисков правды и неослабных поисков художественного слова, способного воплотить и передать эту правду. Увлечение литературой началось еще в гимназии. Первый его рассказ («Сон») был написан еще в 1902—1903 годах. Рассказ «Прошлое в настоящем» был впервые опубликован 7 мая 1909 года в тбилисской газете «Чвени азри» под псевдонимом Л. Михадзе. За этим, как мы уже знаем, последовал длинный ряд новелл, повестей, романов. Лео Киачели — один из любимых авторов и юного читателя. Его перу принадлежит целый ряд литературно-критических и публицистических статей — о Данте и Давиде Гурамишвили, Рабиндранате Тагоре и Ро-

мене Роллане, Дмитрии Кипиани и Анатоле Франсе, Толстом и Чехове. Лео Киачели — блестящий переводчик Франса и Стендоля, он же перевел на грузинский язык «Дело Артамоновых» Горького.

Нелегко рисовать портрет Лео Киачели. Если правы французы, что «стиль — это человек», то тогда можно определенно утверждать, что художественная манера и стиль Лео Киачели действительно передают каждый «оттенок», каждую особенность его человеческого существа. В его спокойной уравновешенности и скрытой, сдержанной доброй иронии мы можем увидеть признаки того эпического стиля и еле заметного юмора, которые столь свойственны большинству его произведений. Его беседа, его рассуждения также привлекательны, значительны и убедительны, как мастерские монологи и диалоги в его романах и рассказах. Когда он говорит, кажется, что он рассказывает содержание какой-то незнакомой вам еще повести. Он справедливо признан мастером диалога. Мы сказали бы больше: в его руках диалог поистине могучая сила — чарующая, беспощадно пленяющая, ибо, раз попав в ее полон, читатель уже до конца не избавится от этого своего добровольного и увлекательного пленя. Он не любитель головокружительного хаоса слов, своего рода словесных бурь в стакане воды, минутного блеска недолговечных вспышек «молниеносных» фраз. Легких путей Лео Киачели не искал никогда ни в жизни, ни в литературе. Везде и всюду он оставался самим собой — в Европе и России, в храмах и университетах, в библиотеках и кафе Запада и Востока. Он всегда оставался грузинским писателем с высокой гражданственностью и острым чувством ответственности и долга перед своим народом. Гуманизм и патриотизм, оригинальность и естественность — вот те высокие дорожные знаки, которые всегда указывали подлинному художнику его единственно верный творческий путь.

Азиз Шариф

Ценный литературоведческий труд

В издательстве «Советский писатель» в Москве вышла вторым дополненным изданием книга Г. Ломидзе «Единство и многообразие», посвященная теоретическим проблемам развития литератур народов СССР.

Труд Г. Ломидзе является итогом наблюдений автора над таким новым и поистине замечательным явлением, как рожденная Октябрем советская литература с ее особыми чертами, особыми законами развития и даже особыми эстетическими нормами.

Автор исследует живой процесс, происходящий на наших глазах, когда, быть может, еще не все стороны этого процесса завершены, когда продолжаются еще опыты, результат которых трудно предвидеть, когда каждый день приносит нечто новое, обогащая наши представления, показывая привычные нам явления с новой стороны, выдвигая новые проблемы и подсказывая новый подход к их разрешению.

Вот в чем, как мне кажется, основное значение труда Г. Ломидзе.

Свою работу он начинает с рассмотрения одной из коренных теоретических проблем марксистско-ленинской эстетики — проблемы национального своеобразия литературы.

Называя десятки имен писателей и ученых чуть ли не всех стран и народов, ссылаясь на десятки произведений, написанных на занимающую автора тему чуть ли не на всех языках мира за последнее столетие (и, замечу в скобках, несколько перегружая книгу этими именами и названиями), Г. Ломидзе в полемике с ними формулирует свои основные положения, целиком опирающиеся на марксистско-ленинскую эстетику.

Проблему национального своеобразия он связывает с самой сущностью реалистического искусства, отражающего конкретно-историческую жизнь определенного народа.

Не отрицая необходимости изучения взаимодействия и взаимосвязей литератур народов мира и плодотворности раскрытия некоторых общих закономерностей мирового литературного процесса, автор считает важным не утерять национальной основы литературы, не предать забвению национальные традиции. Ради общих закономерностей не следует упразднять закономерности развития отдельных национальных литератур. «Подобное изучение порочно в существе своем, — говорится в книге. — Оно бесплодно. Общие закономерности должны вырастать из опыта отдельных национальных литератур, обобщать и собирать в себя живые связи литературного развития, а не отбрасывать их».

Так автор опровергает буржуазных теоретиков искусства, которые, отстаивая идею всеобщности, безнациональности искусства, утверждают универсальный характер культурных ценностей, чтобы доказать их внеклассовую, внесоциальную сущность, низвести на нет национальное своеобразие культуры.

Г. Ломидзе резко выступает и против современных ревизионистов, которые упорно твердят о том, будто метод социалистического реализма вынуждает советских писателей писать об одном и том же одно и то же, будто границы художественного своеобразия между ними полностью сглажены. Опыт советской литературы, который широко использован в книге, убедительно опровергает эти измышления. Автор доказывает,

что именно метод социалистического реализма, сохраняя национальные традиции и особенности литератур народов СССР, придал этим литературам огромный размах, сделал их полноправными участниками единого литературного процесса.

Так Г. Ломидзе подходит к формуле, утверждающей национальный по форме и социалистической по содержанию характер советской литературы, через глубокий анализ выдающихся произведений многонациональной советской литературы — романа-эпопеи М. Ауэзова «Абай», трагедии С. Вургана «Вагиф», романа В. Лациса «Сын рыбака» и многих других.

Дав краткий, но убедительный художественный анализ целого ряда различных произведений из грузинской, киргизской, татарской, эстонской, узбекской, украинской, белорусской советских литератур, автор устанавливает характерные черты, свойственные художественному стилю каждого из национальных писателей.

Так, он показывает, что многообразие советской литературы находит свое выражение и в богатстве различных национальных стилей, и в наличии в каждой из национальных литератур нескольких стилевых течений. При единстве мировоззрения писатели разных национальностей являются самобытными творцами литературных ценностей. Анализ различных произведений национальных литератур, приведенный в книге, позволяет показать, как при решении идейных проблем, даже сходных по своей общественной и социальной сути, писатели избирают многообразные художественные пути, создают оригинальные произведения.

Та же мысль еще полнее и четче формулируется автором при определении особенностей метода социалистического реализма: «при единстве идейных задач, при единстве метода познания и освоения действительности социалистический реализм предоставляет писателям большой простор для выбора творческих и стилевых направлений. Отличаются друг от друга не только литературы разных советских народов. Отличаются друг от друга представители одной национальной культуры».

Большое внимание уделяется в

труде Г. Ломидзе вопросам развития национального литературного языка. Довольно обстоятельно и убедительно он доказывает, что язык ~~не является~~ является единственным признаком национальной литературной формы.

Признавая в основном правильными как постановку, так и разрешение вопроса, связанного с развитием национального литературного языка, я бы хотел поспорить с автором лишь по одному частному вопросу, — о том, действительно ли так уж неправы те писатели, которые, как он пишет, создавая характер представителя другой национальности, пренебрегают грамматическими нормами языка, игнорируют законы синтаксиса, иначе говоря, заставляют героя из другой национальности говорить на чужом для него языке с определенным нарушением грамматических и фонетических правил этого языка. Мне кажется, этот литературный прием нельзя отвергать огульно и решительно для всех случаев. Все зависит от характера произведения и такта писателя. Можно привести множество примеров, когда к этому приему прибегали и классики мировой литературы и современные писатели. И в этом нет ничего предосудительного, поскольку этим приемом передается своеобразие героя, отличающегося от других героев произведения своей национальной принадлежностью. Ведь мы требуем и вправе ждать от писателя индивидуализации речи героев, которая обуславливается социальной средой, классовой принадлежностью, профессией, в ряде случаев даже местностью, в которой проживает тот или иной персонаж. Почему же мы должны исключать из этого ряда отличительных черт речи героя его национальную принадлежность, если, конечно, он существует в произведении именно как представитель иной, чем остальные действующие лица произведения, национальности.

Анализируя в четвертой главе проблему национального характера, Г. Ломидзе приходит к совершенно правильному выводу о том, что в классовом обществе национальный характер формируют разные классы. «Существование двух наций, двух культур в буржуазном обществе, —

пишет автор, — обуславливает сложность, противоречивость национального характера, который призван быть выражителем антагонистических общественных и моральных идеалов. В национальном характере есть и передовое, плодотворное, есть также отсталое, консервативное... В том, какие стороны национального характера будут развиваться и преобладать, решающую роль играют условия общественного развития. В зависимости от исторических обстоятельств жизни происходит преобразование национального характера, живое движение его свойств».

В этом свете несколько неожиданно звучит отождествление национального характера с национальным разумом народа (стр. 285), поскольку трудно представить себе разум народа, в котором наряду с передовым и плодотворным нашло бы себе место и отсталое, консервативное. Национальный разум создается, шлифуется в борьбе с предрассудками, отсталыми или отживавшими чертами национальной психологии, пишет автор, и в этом он безусловно прав. Прав он также в том, что эти предрассудки и наследия могут осесть в национальном характере, стать на определенной стадии общественного развития его составной частью и что национальный разум отбрасывает их. Таким образом, Г. Ломидзе противоречит сам себе, отождествляя национальный характер, в котором могут осесть предрассудки и отсталые черты, с национальным разумом.

На большом литературно-художественном материале в книге раскрываются условия, в которых развиваются и крепнут, отбрасывая предрассудки и пережитки, приобретая новые черты, национальные характеры советских народов.

«Категория национального характера, — пишет автор, — есть категория конкретная, историческая, изменчивая. Вечно обновляясь и обогащаясь, национальный характер тем не менее сохраняет свои устойчивые признаки в течение длительного времени, накладывает на физиономию нации свой отпечаток».

Путем анализа характеров героев произведений разных национальных литератур Г. Ломидзе доказывает,

что советские люди отбросили в старом то, что безнадежно устарело с изменением времени, а подлинно национальное расцвело еще ярче.

Глава, в которой ставятся проблемы национальных традиций, — одна из важнейших в книге. В этой главе дано правильное определение самого понятия традиций — как действенной силы, помогающей рождению и созреванию новых традиций, новых художественных возможностей.

Сурово осуждает Г. Ломидзе подэтов-подражателей, проявляющих эстетическую неряшлисть, не утружающих себя поисками средств поэтической изобразительности, существующих по чужим исхоженным тропам, попадающих в плен традиции. Признавая, что народное творчество — художественное выражение народного гения — содержит в себе непреходящие ценности и что было бы вредным нигилизмом пренебрежительно относиться к ним, автор отвергает стихи, целиком и неразборчиво построенные на использовании традиционных образов и потому дискредитирующие их. Оттого, пишет автор, все традиционное кажется иногда безнадежно устаревшим, окончательно отжившим свой век. С другой стороны, новые характеры советских людей, закованые в броню традиционной поэтики, утрачивают качества наших современников, становятся воображаемыми рыцарями воображаемой эпохи. Г. Ломидзе требует от советских художников слова вдумчивого, глубоко творческого, требовательного отбора и освоения наиболее прогрессивного и весомого в культурном наследии прошлого.

Г. Ломидзе отмечает, что подлинное новаторство — это поиски новых средств и возможностей художественной изобразительности. Хранить наследство, — значит не ограничиваться им, а развивать его, вносить в наследство новаторские черты, отнюдь не отбрасывающие национальную самобытность искусства. Истинное сохранение лучших национальных традиций — это их прумножение, восхождение на качественно новую ступень, а не пассивное вращение вокруг знакомого и устоявшегося.

Проблемам освоения опыта русской литературы, национальной самобытности, взаимодействия и взаимосвязей национальных литератур — проблемам, о которых много написано нужного и ненужного, верного и неверного и которые все еще остаются в числе самых сложных и мало изученных проблем, посвящена последняя глава книги.

Метод социалистического реализма, по мысли автора, в любой из национальных литератур не может появиться в результате только лишь учебы или применения готового образца. Он формируется и обретает живую плоть в тесной связи с развитием собственного национального художественного творчества.

Отмечая и подчеркивая великое значение русской классической и советской литературы для развития литератур народов СССР, Г. Ломидзе останавливается кратко и на обратном процессе — воздействии других национальных литератур на русскую, на вопросе, почти не затронутом нашими литературоведами. Не претендуя на исчерпывающее решение проблемы, автор приводит всего лишь два примера из русской советской литературы, свидетельствующих об этом воздействии.

Один пример касается поэта Н. Тихонова, познакомившегося с историей и жизнью современной Грузии и полюбившего чудесную грузинскую поэзию. Его стихи о Кахетии явились значительной вехой в творчестве поэта, новой, более высокой ступенью его творческой зрелости.

В качестве второго примера приведен Владимир Луговской, которого новизна увиденного в Средней Азии заставила отказаться от камерности, от смутных и случайных ощущений, от витиеватого, нарочито усложненного метафоризма, дававших знать о себе в его прежних стихах. Оригинально переосмысливая традиции восточной литературы, «сопрягая» их с новыми формами жизни, поэт создал интересные, узорчато гиперболические образы, наполненные философской мыслью.

Георгия Ломидзе как ученого и критика отличает четкость и сме-

лость теоретических положений, тонкость наблюдений и анализа художественных произведений, которые приводятся для доказательства теоретических тезисов автора, умение всегда ухватиться за главное, не задерживаясь на незначительных явлениях в литературе. Написана книга выразительным языком, читается легко, интересно.

Я бы хотел внести существенную поправку в то определение, которое дается в книге форме азербайджанского стиха гошма.

Свообразие гошмы автор видит в том, что каждая строфа стиха завершается словами «я вспомнил». Это не так. Строфа гошмы может завершаться любыми словами, и в этом нетрудно убедиться, взяв томик Вагифа, непревзойденного мастера гошмы. В этой же книге, выпущенной на русском языке Гослитиздатом в Москве, кстати сказать, дано и исчерпывающее определение гошмы, указано ее своеобразие. Некоторые гошмы Вагифа, в том числе и вдохновенная его гошма, посвященная Грузии времен Ираклия II, в великолепном переводе Константина Чичинадзе, известны и грузинскому читателю.

Нарушая требования, предъявляемые к научному труду, каковым по существу и является книга Г. Ломидзе, автор во множестве случаев не дает сносок, не указывает источников, из которых приводятся выдержки. Это затрудняет пользование книгой, лишая читателя возможности обратиться к первоисточнику,

К недостаткам книги я причислил бы и встречающиеся, правда, довольно редко, повторения, излишество примеров и ссылок.

Но Г. Ломидзе показал себя в этой, книге не только действительно завидно эрудированным, но и талантливым исследователем, страстным публицистом.

Книга Г. Ломидзе вся пронизана дыханием современности. Главная ее ценность и основное ее достоинство, мне кажется, в том, что она обращена не столько ко вчерашнему, сколько к сегодняшнему и даже к завтрашнему дню советской литературы.

Валерьян Имададзе

Шевченко и Грузия

Это было в Петербурге, весной 1860 года. На квартире профессора русской истории Н. И. Костомарова в меблированных комнатах Балабина, именовавшихся в просторечии «Балалаевкой», по вторникам устраивались вечера, на которых собирался цвет петербургской интеллигенции. Здесь можно было увидеть Н. Г. Чернышевского, К. Д. Кавелина, Б. Ф. Калиновского, Эдварда Желиговского, Зигмунда Сераковского, В. М. Белозерского, Т. Г. Шевченко и др.

«Вечера эти были очень оживленные, — вспоминал впоследствии Костомаров, — что отчасти объясняется тем напряженным состоянием, в каком находилось тогда все петербургское общество: встречались люди и наговориться не могли: каких только вопросов не касались, спорили, горячились!».

На одном из этих вечеров юноша-грузин, студент первого курса Петербургского университета и начинающий поэт Акакий Церетели встретился с Тарасом Шевченко.

В своих воспоминаниях А. Церетели пишет: «Беседа наша тянулась до трех часов ночи. Разошлись мы друзьями, дав друг другу обещание встречаться почаще. Но увы, моему счастью не удалось сбыться...»

Эта встреча с гением украинской поэзии произвела на грузинского юношу неизгладимое впечатление. «Признаюсь, я первый раз понял с его слов, как надо любить родину и свой народ», — говорил Церетели.

Т. Шевченко всегда интересовался Кавказом, Грузией. Русский литератор А. С. Афанасьев-Чужбинский, путешествовавший вместе с

ним, вспоминал, как Тарас Григорьевич часто обращался к нему с просьбой: «Ось сядь та роскажи мені про Грузію». И Афанасьев, хорошо знавший Грузию и Кавказ, добросовестно старался удовлетворить просьбу своего друга.

И на этот раз автор поэмы «Кавказ», встретясь с Церетели, много расспрашивал его о грузинской истории, литературе, обычаях нашей страны. Оба собеседника разделяли мысль о важности союза грузинского народа, находившегося во враждебном окружении, грозившем величайшими опасностями его национальному существованию, с «мощественной русской державой». Шевченко восхищался стойкостью грузинского народа в его многовековой борьбе против иностранных завоевателей. Он говорил: «Как много общего у этого народа с нашим».

Грузинский поэт, вероятно, неоднократно упоминал в кругу своих близких и друзей о встрече с Шевченко. Но официальное, публичное заявление о ней он впервые сделал, по имеющимся материалам, в 1908 году в Баку, где 21 декабря состоялся торжественный вечер, на котором чествовали великого грузинского поэта. Приветствовать его пришли азербайджанцы, армяне, русские, грузины, украинцы. Когда очередь дошла до украинцев, делегатка от них, одетая в национальный украинский костюм, преподнесла А. Церетели портрет Тараса Шевченко. Взволнованный этим подарком, Акакий заявил: «...Я был еще совсем молод, когда исполнилась моя заветная мечта и я увидел Шевченко в первый и последний раз. Отныне этот портрет всегда будет со мной —

он будет висеть в моем кабинете до моей смерти»¹.

И действительно, портрет Шевченко всегда стоял на столе в рабочем кабинете Церетели в селе Схвитори рядом с «Кобзарем».

Газета «Дроеба» в номере от 18 февраля 1909 года сообщила о литературном вечере Акакия Церетели в Харьковском университете. «Многие подлинные патриоты-украинцы, — говорится в корреспонденции, — были очень обрадованы заявлением Акакия Церетели, что он лично знал Тараса Шевченко».

И наконец 26 февраля 1911 года в газете «Закавказье» была напечатана ставшая исторической статья Акакия Церетели «Мои воспоминания о Шевченко».

В фонде Акакия Церетели Института рукописей Академии наук Грузинской ССР хранится черновая запись «Речи к украинцам» Акакия Церетели. Рукопись не датирована. Но она, видимо, относится к 1911 или 1914 году, когда праздновался юбилей Т. Шевченко.

Т. Шевченко, говорил в этой речи А. Церетели, считал необходимым всемерно и постоянно развивать национальные особенности, язык, культуру украинского народа. В рукописи сказано: «Вот истина, которую проповедывал сто лет тому назад великий и симпатичный пророк Шевченко. Говорю симпатичный потому, что я знал его лично и от него научился любви к родине. Таких великих людей производит только великая нация, но они, кроме своей нации, принадлежат и другим — потому позвольте нам, грузинам, присоединиться к вашему торжеству и почтить память великого украинца».

Через некоторое время после А. Церетели Тараса Шевченко видел и слышал в Петербурге крупный общественный деятель Дмитрий Кипиани. В Государственном литературном музее Грузии хранится письмо Кипиани к жене от 13 ноября 1860 года из Петербурга. Вот отрывок из этого письма:

«Три дня тому назад я присутствовал на публичном литературном чтении. Читали: Бенедиктов — превосходно; наш Полонский, — теперь

он здесь, замечательный поэт, — хорошо; Майков — превосходно; Достоевский и Писемский — посредственно, а Шевченко, малороссийский поэт и художник, — изумительно! Зал был переполнен».

* * *

Большим событием в деле духовного единения двух братских народов — украинского и грузинского — явилось чествование памяти Т. Шевченко в Грузии в 1911 году (пятидесятилетие со дня смерти) и в 1914 году (столетие со дня рождения). В Тбилиси и Кутаиси эти юбилейные даты были отмечены с большим подъемом. В 1911 году в грузинских газетах и журналах были помещены переводы стихов Шевченко, напечатаны очерки о жизни и творчестве украинского поэта.

Много сделал для популяризации Шевченко в Грузии известный педагог и литератор Ал. Гарсеванишвили. Он прочитал в Кутаиси две лекции о жизни и творчестве Шевченко. Затем эти лекции были повторены в Гори, Поти, Чиатура. Впоследствии их издали отдельной книжкой под названием «Великий поэт Украины Тарас Шевченко».

К этому периоду относятся также две статьи выдающегося грузинского педагога и общественного деятеля Якова Гогебашвили о гениальном сыне украинского народа.

Первая из этих статей — «Маленькая заметка о великом поэте» была помещена в «Сахалхо газети» 13 марта 1911 года, а вторая — в третьем номере популярного журнала «Накадули» за тот же год. Для обеих статей характерны глубокая любовь и уважение к Украине, к ее замечательному народу и великому сыну — Шевченко.

С волнением и признательностью отмечает Гогебашвили бессмертные заслуги Шевченко перед украинской и мировой культурой: «Несмотря на ужасающую судьбу, которая досталась Шевченко, он создал на своем любимом родном языке чарующие поэтические творения, которые теперь переведены на все культурные языки и читаются с огромной радостью».

Вторая статья значительно больше

¹ Газета «Чвени хма», 1909 г., № 1.

по размёру и также выдержана в духе солидарности с многострадальной Украиной, с мужественным и свободолюбивым украинским народом. В ней также подчеркивается общность исторических судеб Грузии и Украины.

Гогебашвили страстно любил Украину и ее великого сына. Эту любовь к Т. Шевченко Я. Гогебашвили привил и своим ученикам. Один из них — известный грузинский писатель — народник Нико Ломоури, получил высшее образование в Киеве и был первым переводчиком Шевченко на грузинский язык. В 1877 году им была переведена знаменитая поэма «Наймичка», опубликованная в журнале «Иверия» (№5, 1881 г.). Этот выбор не случаен — в революционно-прогрессивных кругах Грузии поэма была особенно популярна. Кроме того, этот выбор свидетельствует о художественных вкусах молодого грузинского переводчика и его прогрессивных устремлениях. Вот что сказал об этой поэме известный поэт-демократ А. И. Плещеев: «Мы не знаем ничего проще, безыскусственнее и в то же время поэтичнее его «Наймички»: никаких грандиозных картин, которыми бы автор старался воздействовать на вашу фантазию, никаких изображений сильных страстей, никаких приключений и катастроф — все так обыкновенно, буднично; а между тем есть места, потрясающие вашу душу, как может потрясти ее самая ужасная трагедия».

В 1914 году вся передовая Украина деятельно готовилась достойно отметить 100-летие со дня рождения Тараса Шевченко. Еще задолго до юбилея грузинские газеты сообщали, что в 1914 году в Киеве будет установлен памятник Шевченко и что грузины обязаны принять участие в этих торжествах.

Но весь самодержавно-бюрократический аппарат царской России былпущен в ход, чтобы сорвать чествование Шевченко. В. И. Ленин с возмущением и ненавистью бичевал этот позорный поход против украинского народа, его культуры, памяти его гениального сына. Большевистская газета «Путь правды» смело встала на защиту украинского народа. Полна чувства глубокой солидар-

ности к украинскому народу и согретая огромной любовью к великому поэту-демократу статья, опубликованная в грузинской газете «Симартлис хма» («Голос правды»), выходившей в Кутаиси. В ней сказано: «...Правительство всегда преследовало демократическое мировоззрение и в особенности демократию нерусских народов («инородцев»). Среди «инородцев» наиболее значительны 20 млн. украинцев... Запрещение празднования Шевченко одно из звеньев этой политики. Шевченко — украинец и демократ. Следовательно, его праздник вдвое опасен. Он усилит украинцев и сильно будет способствовать развитию демократического движения».

Грузинские газеты и журналы много внимания уделили юбилейной дате. В этот день были напечатаны специальные статьи, посвященные жизни, деятельности, поэтическому творчеству великого Кобзаря, переведены и напечатаны его стихотворения, отрывки из поэм. Некоторые газеты посвятили Тарасу Шевченко целые полосы.

Журнал «Театри да цховреба» («Театр и жизнь», № 1, 1914 г.) писал: «Шевченко — великий украинский поэт, патриот-гражданин. Его поэзия имела для Украины такое же значение, какое имела поэзия Пушкина для русской литературы».

С грустью констатируя, что грузинское общество «очень мало знакомо с его, Шевченко, своеобразным поэтическим творчеством», грузинский журнал настойчивоставил вопрос о необходимости перевода произведений Шевченко на грузинский язык.

Бершиной, апофеозом юбилейного вечера, посвященного Шевченко, было выступление Акакия Церетели 11 апреля 1914 года в Городском Народном Доме.

В знак благовения перед светлой памятью национального гения братского народа седовласый певец Грузии преклонил колени перед бюстом великого украинского поэта Т. Шевченко. Глубоко взволнованная этой трогательной сценой многочисленная публика со слезами на глазах, стоя выслушала вдохновенную речь А. Церетели и наградила его бурными аплодисментами. С огромной

стремлением и глубочайшим уважением говорил Церетели о великом поэте Украины, призываая учиться у него священной любви к отечеству, родному народу и литературе.

* * *

Примечательно, что после установления Советской власти в Грузии, первый литературный вечер в молодой Советской республике был посвящен памяти Тараса Шевченко. Вот что писала газета «Правда Грузии» 9 марта 1921 года:

«В пятницу 11 марта, в Народном Доме имени Зубалова состоится вечер памяти Тараса Шевченко. Перед спектаклем будет прочитан реферат о жизни и литературной деятельности великого украинского поэта, после чего будет представлена пьеса «Назар Стодоля».

Еще Я. Гогебашвили в 1911 году сетовал на то, что бессмертные творения Шевченко не звучат на грузинском языке. В годы советской власти соединенными усилиями лучших поэтов Грузии создан великолепный памятник вековой дружбе грузинского и украинского народов — творения великого Кобзаря переведены на грузинский язык.

125-летие со дня рождения ге-

ниального сына украинской земли 1939 году было проведено в Грузии как всенародный праздник. В июне 1939 года в Киев на торжественный пленум Союза писателей СССР, который был посвящен юбилею Тараса Шевченко, из Грузии выехала делегация в составе видных деятелей грузинской культуры — Ш. Дадиани, Г. Леонидзе, И. Абашидзе, К. Гамсахурдия, И. Гришашивили, С. Чикованы, И. Мосашвили, К. Карадзе, С. Эули, А. Мирцхулава, Д. Шенгелая, М. Патаридзе, Мариджан и др.

Т. Шевченко посвятили свои взволнованные стихи грузинские поэты В. Гаприндашвили, В. Горгадзе, Маквала Мреэлишвили, Г. Качахидзе, К. Бобохидзе, Иасамани (М. Кинцурashвили). Грузинские композиторы (например, Д. Аракишвили, И. Гокиели) создали музыкальные произведения на слова Шевченко.

Так же широко была отмечена в Грузии и другая юбилейная дата Т. Шевченко — 90-летие со дня его смерти в 1951 году.

И сегодня, отмечая столетие со дня смерти великого Кобзаря, грузинский народ, как в свое время Акакий Церетели, благоговейно склоняет голову перед бессмертной памятью поэта-революционера, одного из гениев мировой культуры.

Подписано к печати 5 марта 1961 г. 6 печ. листов + 1 вкл.

Формат бумаги 70×108^{1/16}.

Тираж 2.500

УД 01777

Заказ № 133

Цена 40 коп.

ეურნალი „ლიტერატურნაია გრუბია“
(რუსულ ენაზე)

საქართველოს მწერალთა კავშირის გამომცემლობა „ზარია ვლაძეოვა“

Типография «Заря Востока» им. А. Ф. Мясникова издательства
ЦК КП Грузии, Тбилиси, пр. Руставели, № 42.

1983



40 K.